

051

ЮРИЙ ЯНОВСКИЙ

ЗЕМЛЯ

ОЩЦОВ

я 64

Р33077

огиз · гослитиздат

1

9

4

4



ЮРИЯ ЯНОВСКИЯ

ЗЕМЛЯ ОТЦОВ

Перевод с украинского

О Г И З

*Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1944*

СОДЕРЖАНИЕ

Коваль. Перев. автор	3
Девочка в венке. Перев. Ел. Благинина	6
«Ястребок». Перев. Б. Турганов	11
Американский кум. Перев. Б. Турганов	15
Маленький факт. Перев. Б. Турганов	19
Генерал Макодзьоба. Перев. Б. Турганов	23
Вино победы. Перев. Б. Турганов	25
Дед Данило из «Социализма». Перев. автор	28
Школьник. Перев. Ел. Благинина	33
Кашевар. Перев. Б. Турганов	38
Украинка. Перев. Ел. Благинина	42
Четвертый — сержант. Перев. Ел. Благинина	47
Завещание. Перев. Ел. Благинина	55
Лучи ласкового солнца. Перев. Б. Турганов	61
Петрусь и Гапочка Перев. Ел. Благинина	70
Сын династии. Драма. Перев. А. Деев	76

Редактор А. Деев

Подписано к печати 12/VI 1944 г. А—7868.
 Тираж 25 000 экз. 4 $\frac{3}{4}$ печ. л., 5,97 уч.-авт. л.
Заказ. 287. Цена 4 р.

2-я тип. изд-ва «Московский большевик», Москва, Петровка, 17.

КОВАЛЬ

Я вас понимаю, товарищи. Человеку страшно, когда горит его дом. И его добро, — честное, трудовое колхозное добро, — горит на земле. Я сам поджег хату. Зеленый мой сад почернел навсегда. Пчелы сгорели в огне. Криница обвалилась и схоронила светлую воду, поившую много лет нашу семью. Аист, живший на моей хате, бросился с высоты в свое объятые пламенем гнездо и погиб. Здесь, под этой обгорелой вишней, могила моего отца. Вот я целую святую землю могилы: «Благословите, тато, на бой за советскую власть!»

Все уже ушли в тыл. Забрали скот, птицу, лошадей. Зарыли зерно. Увезли колхозную канцелярию и красную книгу с золотыми буквами — акт на вечное владение нашей землей.

На черной горелой ветке акации, возле того места, где вчера еще стоял наш Дом культуры, остался висеть маленький красный лоскуток материи — символ того, что мы еще вернемся.

Мы вернемся, паны-фашисты! Мы накормим вас советской землей и напоим свинцом! Вы получите все, за всех, без пощады!

Сами вы знаете, товарищи, что я не кто-нибудь оосбенный. Простой колхозный кузнец, а теперь — партизан. Стаж по этому делу у меня немалый. Еще в восемнадцатом году бил немцев на Украине — на полный ход. Моя фамилия — Коваль. Кто еще не слышал, — так услышит, — верно, люди?

Немец, дорогие мои соседи, боится нашего человека. Не знаю, что там было по истории до меня, а вот на моей памяти немца мы здорово били. И не забудьте, что это — в восемнадцатом, когда оружие наше было самодельное. А теперь будьте любезны! Подходи, собачьи души! Будет вам все, что полагается по нашему народному закону борьбы!

С немцем нельзя по-благородному. Он — жулик и ворюга. Его мозги заплыли черной кровью. Сначала его надо приколоть, а потом разговаривать. Если не успел заколоть — стреляй. И, главное, будьте спокойны. Наше дело правое.

Товарищи, кругом немцы. Извините за громкий голос. Мы перешли на неслышную жизнь. Говорить шопотом, ходить, как полагается. Дисциплина — понятно какая. На случай моей смерти заместитель назначен. Смерти не бояться! Кто боится смерти, тот скорее умирает. А нам еще надо долго жить. Это говорил мне дед, помните, какой у меня веселый дед был?

Эге, дед у меня был не простой, каждому пожелаю такого деда. Любил бороться на ярмарках. Одного немецкого чемпиона поборол. Сначала взял его за корпус и начал водить. Немец кричит, тужится, взмок весь. А дед ему тогда

как даст кулаком в ухо, так немца за руки и за ноги и убрали.

Немец — животное нежное. Допустим, утром у него кофе должен быть. А мы у него этот продукт уничтожили. Уничтожили кофе, обед с бутербродом, водку вылили на землю, — немец голодный. Он привык, что генерал ему приказы дает, а мы его генерала на тот свет отправили, штаб гранатами разогнали, карты пожгли. Правильно, товарищи колхозники? Все должно так делаться: дорсги портиться, плотины открываться, леса гореть, танки падать в ямы, — а нас никого и вблизи нет. Ага, душегубы, вам захотелось украинского хлеба и сала? Махно вам кланялся с того света!

Родной колхоз лежит перед нами в виде страшного пепелища. Лучше в огонь, чем врагу! Деревья склонили к земле обгорелые руки. Ничего, родные, отрастут еще краше ветки! Зазеленеет колхозная улица. Поднимутся новые красивые хаты. Дочери наши посеют за хатой любисток, и мяту, и подсолнечник. Студеная вода хлынет из криницы в новое ведро. Вольная наша песня еще звучнее, еще красивее, еще патристичнее зазвучит над новой жизнью, навеки завоеванной в боях с кровавым фашизмом. Это все будет! Непременно будет!

Мы идем, братья!

22 июля 1941 года



ДЕВОЧКА В ВЕНКЕ

— Дядя доктор, мне уже не будет больно? Мама говорит, что я терпеливая. Я ведь не маленькая: мне уже двенадцать лет исполнилось. А мама сидит в коридоре, да? Вот видите, мне нельзя громко стонать...

Это военный лазарет, товарищ доктор? И я буду лежать на настоящей большой койке, как красноармеец? Нет, мне совсем не больно. Я немножко закрою глаза, можно?

Теперь вытрите мне, пожалуйста, лицо. Это не слезы. Слезы всегда бывают соленые. Почему это я так много разговариваю? Вы мне что-то впрыснули, да? А зачем? Наша учительница Ганна Семеновна всегда, бывало, говорит: «Феня Кравченко, не задавай пустых вопросов в классе».

Я очень люблю рисовать. Мне мама обещала подарить краски, акварель называется. Это когда кисточкой нужно рисовать. Мама говорит: «Кончай, Феня, школу — будешь хорошим бригадиром». Моя мама сама бригадир в колхозе. А я говорю: «Нужны мне ваши бригадиры, мне рисовать охота». Мама говорит: «Не всем же итти рисовать, не дури, Феня». А я говорю: «Не пустите рисовать, назло вам помру». А папу нашего финны убили, я сиротой считаюсь, мама и начнет сердиться. И говорит, что посадит меня в крапиву. А я не боюсь крапивы. Это мама шутит. У нас за хатой и крапивы-то нет: одни цветы. Разные, преразные цветы.

Я умею венки плести. Меня никто не учил, я сама выучилась. Мама говорит, что это ко мне от бабушки перешло. А как оно переходило, никто и не заметил. Я всем девчатам венки плету. Они в моих венках ходят — и на свадьбу, и в кино, и на танцы...

Поглядите, это мой последний веночек. Из зеленой пшеницы. Вон он висит... Нет, это не веночек, мне показалось. Что-то зеленое висит на стенке, я подумала, что это мой веночек. У меня голова кружится, вот я и ошиблась. А глаза у меня зоркие, я далеко в степи вижу.

Мы втроем были. Я, Саня и мальчик Сашко-маленький. Сашко-большой у нас тракторист, а Сашко-маленький в одном классе со мной. Мы день и ночь стерегли. На головы надели венки из пшеницы, колосья высокие — очень красиво. Никто нас ни за что не заметит, а мы — всех. Если диверсант появится или шпион, — всех увидим.

И вот мы сидели. Солнышко было на закате, а кузнечики трещат, стрекочут, паутинка плывет, колосья качаются, кругом степь — ни души. Так и хочется все нарисовать. Сашко-маленький и говорит: «Зря мы сидим, никто до нас не долетит никогда!» А я ему говорю: «Мы тебя не держим за чуб, можешь итти, дело добровольное». Ну, он, конечно, остался, он любит поспорить.

Тогда вдруг что-то зашумело. Мы глядим. Вылетел из-за лесу самолет, словно остановился в воздухе, потом с него спрыгнули трое. Два мужчины и одна будто женщина спрыгнули и повисли на парашютах. Покачались, покачались, как игрушечные, а потом сели на землю. Самолет улетел. Снова тихо, тихо. Будто ничего не случилось.

Сашко-маленький как заплачет: «Ой, Феничка, голубочка, мне страшно!» — «Дурень, говорю, это ж только война! Ты лучше беги дорогой, а Саня побежит напрямки. Скажете там, что они уже тут...»

Энкаведе потом мне говорил, что я не имела права одна оставаться. А как же я могла уйти? Их бы не нашли без меня...

Вдруг я увидела, что по дороге идут два ми-

лиционера и ведут какую-то женщину. Я очень обрадовалась и выбежала навстречу. Я думала, что это уже поймали парашютистку. Но сделала ошибку. Мне не нужно было выскакивать.

А тогда женщина меня заметила. «Здравствуй, пожалуйста, девочка, я тебе несу конфетку». У милиционеров глаза страшные, и один милиционер хромал. Тогда я поблагодарила за конфетку. «Парашютистов видела?» — спросил хромой. Я не знала, как нужно отвечать, и молчала.

Женщина сказала: «Это маленькая дикарка, я буду ее приласкать». Я почувствовала у нее под кофтой какие-то железные вещи. Потом она еще сказала: «Ты видела, милая девочка, прыгать с самолета разные люди?»

«Нет, тетя, я ничего не видела, я сидела и плела венки».

Тогда хромой схватил меня за волосы: «Врешь, грязная свинья, ты видела!»

Я нарочно заплакала, чтобы они меня не мучили. Я ведь сразу поняла, что они фашисты и шпионы. От них даже пахло по-чужому. И конфетку они мне дали не нашу, я не ела, чтоб не отравиться.

Я сказала: «Как вам не стыдно. Советский милиционер не должен кричать на детей».

Женщина сказала: «Спокойно, Руди, эта маленькая девочка испугалась».

Но я не маленькая и совсем не испугалась. Я думала: «Пускай пройдет больше времени, и они не смогут далеко уйти».

Я спросила: «Дядя милиционер, откуда вы идете?»

Милиционер ответил: «Мы из другого района».

Я сказала: «Сразу видно, что вы все из другого района».

Женщина спросила: «А почему?»

Я сказала: «У вас очень чистые ноги».

Женщина засмеялась: «У нас очень любят чистоту и порядок».

Я сказала: «Вы часто вытираете в дороге пыль с сапог, да?»

Женщина ответила: «Да».

Я сказала: «И чистите щеткой?»

Женщина ответила: «Да». Потом рассердилась: «Какой щеткой?»

Я сказала: «На дороге много пыли, а ноги у вас у всех чистые».

Милиционер стал кричать: «Ты очень глупая девчонка!»

Я сказала: «Да».

Женщина спросила: «Дорога на станцию?»

Я сказала: «У нас много станций, — какая вам нужна? У нас есть машинотракторная станция, потом есть мелиоративная станция, потом опытная станция, потом противомалаярийная, — какую вам нужно?»

Женщина ответила: «Железная дорога. И не делай, девочка, много говорить — нас нет времени...»

Я сказала: «Идите прямо и прямо, повернете вправо через село...»

Милиционер не хотел слушать: «Другую дорогу!»

Я сказала: «Можно другой дорогой. Поверните влево, пройдете лесом, потом мимо военного лагеря и прямо...»

Но им и эта дорога не понравилась. Они не знали, что там никакого лагеря нет, это я все нарочно придумала.

Женщина спросила: «Где твой папа?»

Я сказала: «Отца нет».

Женщина спросила: «Арестован?»

Я сказала: «А если да?»

Они тогда обрадовались: «Веди нас к маме, у нас есть от папы письмо».

Я спросила: «А как наша фамилия?»

Они сказали: «Молчи, пожалуйста».

Я сказала: «Ладно, я поведу вас к маме. Только нужно попозже, когда стемнеет, чтоб никто не видел, правда?»

Милиционер сказал: «Ты умная девочка!»

Я сказала: «Да».

Женщина сказала: «Мы тебе не сделаем плохо».

Я сказала: «А вы, значит, совсем не милиция, только форма милицейская, да?»

Они все очень осерчали, а я опять нарочно заплакала, чтоб они ни об чем не догадались. В это время далеко, далеко показалась машина, а я стала рукой показывать им совсем в другую сторону: «Глядите, глядите! Кто-то едет». Они бросились прочь с дороги и потянули меня за собой. Все трое залегли в пшенице, и меня положили рядом. Я лежу в своем венке, и мне в первый раз сделалось страшно. Они все вытащили револьверы и что-то между собой сказали не по-нашему.

Я услышала, как близко проехала машина, и сразу же высоко кверху подбросила свой венок. Тогда женщина схватила меня за горло и зажала мне рот. Но мой венок все равно увидели. Наши соскочили с машины и бросились туда, где упал венок. Женщина хотела выстрелить в наших, но я ударила ее по руке, и она выстрелила вверх. А хромой выстрелил в меня...

Мне совсем не больно, дядя доктор. Я себя чувствую совсем хорошо. Это мама плачет в коридоре? А чего? У нас ведь война с фашистами! И я вовсе не маленькая, правда?

28 июля 1941 года

«ЯСТРЕБОК»

Он лежал растянувшись, как молодой греческий бог, на зеленой траве под крылом своего истребителя. Золотистые веснушки сияли на мальчишеском лице. Спокойная улыбка раздвигала пухлые губы. Сухой блеск его глаз был сосредоточен и жесток.

— Ну да, я тоже писал стихи на полный ход. Приятный отдых, щекочет сердце, и все такое прочее. Только я думаю, — в стихах тоже нужен высший пилотаж, а? Всякие там бочки, иммельманы, штопоры, пике — наверно, слышали? Без этого в бой не лезь — голову оторвут. Стихи и вообще, как говорится, литература — дело серьезное. Между нами говоря, я люблю поэта Блока. Как это у вас считается — не зазорно? Знаете, очень тонкий парень.

Неожиданно прозвучала команда, и «ястребок» стрелой воткнулся в небо. Его вела мастерская рука. «Ястребок» скрылся за белым облаком. На врага он выскочил, как молния. Тройка фашистских бомбардировщиков сразу же стала в круг, «по коробочке», защищая друг друга с хвоста. «Ястребок» ринулся на сопровождавший бомбардировщиков «Мессершмитт» и буквально насадил на него, вцепился. Трассирующие пули прервали полет вражеского истребителя. Он начал падать, неуклюже скользя на крыло, становясь на хвост и переворачиваясь через голову, но не загорался. «Ястребок» улучил минуту и с крутого «пике» короткой пулеметной очередью на всякий случай поджег «Мессершмитт». Потом он еще яростней насадил на бомбардировщиков. Неизвестно откуда, словно упав прямо с неба, на помощь «ястребку» явился один его товарищ. Фашисты пустились наутек. Весь бой длился не-

сколько минут. «Ястребок» на бреющем полете вернулся на аэродром.

— Вопрос исчерпан, — сказал пилот пересохшими губами. — Разбаловались, гады! За что им только жалованье платят?

Он снова лег и лежал молча. Постепенно румянец возвратился на его щеки, он начал дышать ровно и глубоко, руки перестали мять траву. Юношеское лицо сделалось прекрасным и вдохновенным. Этот воздушный волк был на удивление деликатным и нежным парнем.

— В воздушном бою, — сказал он, — главное — дыхание, вам понятно? Правильно взятый ритм полета всегда дает победу. Это все равно, как из штурманского учебника! И, заверяю вас, форменная правда. Опыт — великое дело. Меня теперь немец не обжулит. Я знаю их штучки. Вот слушайте. Допустим — накануне мотались в небе фашистские разведчики. Это значит — жди утром воздушного налета. И, представьте себе, — бомбардировщики летят тем же курсом, каким приходили разведчики, — фантазии у них не больно густо. Бомбить им нравится рано на рассвете. Идут на цель бреющим полетом: с одной стороны, выходит, неожиданность появления, а с другой стороны — трудность для зенитчиков: быстро меняется угол прицеливания. Но ничего, с трудностями справляемся. Получив по морде, немчура удирает что есть духу, стараясь прижаться к земле и затеряться на фоне зеленых деревьев. Вот и вся их тактика. Подло наскочить скопом на одного — на это они мастера. Никакой воинской чести. Разве они понимают настоящий воздушный бой? Когда с обеих сторон участвует штук по четыреста самолетов. Неба не видно за крыльями. Земля кипит под пулями. Будто град бьет по земле из этой страшной ревушей тучи. Изо всей силы дер-

жишься в середине. Это правильная тактика. Потому что стреляют больше всего по тем, кто окажется с краю. В середине не устоял, выпал на край, — тогда держись. Вот где нужен высший пилотаж! Выбить врага из кучи, оттянуть его в сторону, а там — давай жизни. Такой бой помню в Монголии. Ничего, кончили его прилично, полный порядок, как говорится, и пьяных нет...

Около «ястребка» возились техники, осматривая, заправляя, заряжая, пробуя. Пилот лежа сорвал нежный розовый цветок клевера и деликатно понюхал его.

— Вы заметили, как хорошо пахнут на войне цветы? Я с детства увлекался ботаникой. И вот совмещаю...

Снова прозвучала команда к бою. Пилота словно ветром смело. В один момент он очутился в самолете. Мотор заработал. Со страшным ревом «ястребок» свечкой пошел в небо. За ним оторвались от земли еще два. Противнику готовилась встреча.

Два звена «Хейнкелей» и «Мессершмиттов» шли на большой высоте. В их расчеты не входила задержка на пути к городу Н. Они собирались напасть неожиданно. Минута задержки, — и со всех сторон могут налететь советские «ястребки». Тогда придется забыть про город Н. и думать лишь о благополучном возвращении к своему аэродрому.

Три «ястребка» пошли фашистам в лоб. Первый «ястребок» летел так стремительно, что фашисты невольно уступили ему дорогу. Сделав блестящей точности разворот, «ястребок» прошил пулями крайний «Мессершмитт», и тот сразу же скис и задымился. Два других «ястребка» совместным маневром откололи парочку фашистских стервятников и начали их гонять. Стервятники рванулись к земле, ища спасения. У самой земли

один получил порцию пуль и врезался на полной скорости в лесное озеро. Второго «ястребки» погнали над самой землей.

А высоко в небе первый «ястребок» вел неравный бой с тремя фашистскими самолетами. Он бросался в атаку, как демон, сразу на всех. Его меткий пулемет, наконец, вывел из строя один мотор на «Хейнкеле». Стервятник кинулся наутек на одном моторе. Два его фашистских дружка пустились первыми вперед, не думая спасти коллегу.

«Ястребок» постепенно догонял противника. Он, видимо, сильно пострадал в бою, так как насилу подтянулся к заднему «Хейнкелю». «Ястребок» не стрелял: кончились боеприпасы. Скорее, чем об этом можно подумать, «ястребок» подошел снизу и с полного хода врезался врагу в брюхо. С «Хейнкелем» было покончено. Но и сам «ястребок» мертво падал, завершив героическим подвигом свой победный воздушный бой.

Из «ястребка» выпал летчик. Он летел к земле, почти не переворачиваясь и не делая никаких движений. Казалось, крылья должны возникнуть из его рук, как скромная дань природы за его победу! Не мог побежденным упасть на землю такой человек!

Когда труп «ястребка» уже врезался с глухим гулом в лес, летчик еще летел. И тогда вдруг, почти у самой земли, над ним возник купол парашюта. Приземление было удачно. Но стоять пилот не мог: он был ранен в ногу и голову.

Юношу бережно подняли с земли, чтобы нести к автомобилю. Он открыл глаза.

— Вопрос исчерпан, — прошептал он, сияясь улыбнуться, — в другой раз буду злее...

15 августа 1941 года

АМЕРИКАНСКИЙ КУМ

Письмо братьям-украинцам в Америку

Письмо пущено в страну Америку, Канадскую область, фермеру Паньку Сиромaxe. Пишут ваши кровные братья, партизаны Киевской области, украинцы с деда-прадеда, а фамилии засекречены, пока не кончится война. Сердце ваше подскажет фамилии, да не в этом суть дела.

Кланяется вам до сырой земли известный ваш кум, который был у вас во Львовской области, а супруга его, ваша кума, — уже покойница и все шестеро детей ихних, так называемое царствие небесное заимели. Германы их порезали, а кум теперь воюет у нас на Киевщине на полный большевистский ход, бьет немцев на родной нашей вольной земле, как сказал батько наш—великий Тарас:

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата...

И мы все подписываемся под этими словами поэта, друже наш Панько, и любой ценой их выполним.

Вы прислали президенту Калинину резолюцию украинского митинга в Канаде, а кум ваш глядит на подписи в газете: «Люди, — говорит, — да это ж мой кум из-за океана голос подает. Напишем ему ответ-письмо, надо связь держать с нашими людьми!»

В первых строках письма передаем низкий поклон всем, которые наши люди, а не какие-нибудь гады. Слыхали мы, что у вас в Канаде имеется больше пятисот украинских клубов, да еще рабочие и фермерские организации. А по соседству, в Нью-Йоркской области, — тоже украинские газеты и клубы. Да еще в Бразилии и в Аргентине нашего брата пропасть, но опять-таки надо хоро-

шенько присмотреться, где наши, а где чужие, и все.

Дорогой кум Панько! У вас в Нью-Йоркской области, наверно, есть еще люди, которым ихние деды рассказывали про старую партизанскую войну в Америке. А мы вам напишем про нашу войну и никого не будем агитировать. Люди мы простые, кто поймет — спасибо, а наша пословица говорит: «Лучше с умным семь раз потерять, чем с дурнем один раз найти».

Так вот, кум Панько, сами подумайте. Живете вы на ферме в Канадской области или, допустим, даже в Нью-Йоркской. Пашете, сеете, трудитесь, растите детей, говорите на украинском языке и поете украинские песни, а таких песен, между прочим, существует на белом свете ни много ни мало двадцать тысяч штук. Наш один колхозный бухгалтер даже подсчитал, что можно прожить спокойно шестьдесят лет с гаком — и каждый божий день слушать новую украинскую песню. Но не в том дело.

В один прекрасный день к вам на ферму вдруг влетает на танке фашистская гадина и начинает вас расстреливать. И с самолета кидать бомбы. И жечь ваши хаты. Бесчестить ваших жен. И заявлять, что земля, мол, не ваша, а наоборот, — немецкая. И в портрет Тараса Шевченко стрелять и плевать...

Что вы ответите таким вот хулиганам и убийцам? Возьмете их, может, на агитацию? Или сразу объявите им народную войну? Дорогой кум Панько, в таком разе немедля идите в партизаны и будьте уверены: фашистам это не понравится. Мы сами так сделали. И работаем по силе возможности.

Действуем мы, между прочим, насчет связи. Красная Армия бьет немца в лоб, а мы в тылу

врага действуем насчет связи, — то есть разрушаем, как можем, гитлеровскую связь. Командует нами один сельский начальник почты, полный специалист в этом деле. Между нами говоря, режим проволоку почем зря! Дорогой земляк, ваш кум просит вам написать касательно ножниц на длинной рукояти, чтобы нам не приходилось лазить на столб, поскольку это отнимает дорогое время и рвет одежду, а также получается неприятная мишень на столбе с нашей стороны...

Вооружения хватает, а где нехватка, там друзья подбросят, а то из немецких складов пользуемся. Вы бы, кум Панько, посоветовались там в Америке с понимающими людьми и инженерами дела, как бы это нам от вас добыть бесшумных автоматов для съемки часовых, а также требуются ручные гранаты небольшого размера, как средняя картофелина, но только с ужасным звуком. А ежели вам когда-нибудь со временем самим придется партизанить против фашистских паразитов, так мы вам в свою очередь пришлем тогда полный комплект инструментов и всего, что потребуется.

Как раз вчера мы, дорогой земляк, чуть не подошли со смеху. Решили, между прочим, остановить десяток немецких мотоциклистов — в отношении того, чтобы поближе с ними потолковать. Но останавливать надо было политично, не просто по-грубому перегородить колодой дорогу, а ударить на фантазию. Так вот взяли мы и выпустили из кустов на дорогу с десяток кур и одного порядочного поросенка. Никакой немец спокойно не проедет мимо такого добра. Так и вышло: остановили мотоциклы почем зря. А мы их тогда стали кончать чем ни попало, — сколько тут куриного пуха летало в воздухе! Прямо страх!

Составляем вам, кум, письмо, а сами — на полной осторожности. С этими гадами иначе нельзя,

форменные бандиты. Вчера они повесили ни за что, ни про что трех граждан, даже не здешних — все допытывались, где партизаны. А неделю назад одного нашего поймали, тоже повесили. Мы все при этом были и видели — помер хлопец красиво, ничего не сказал, ни слова не услышали. Ночью мы его выкрали и похоронили с честью, поплакали и потужили, как водится. А палачей всех спалили там, где они нахально пьянку устроили. Дела помалости хватает, только не о том речь.

Еще извещаем вас, что с нами работает один бухгалтер, который записывает все в дебет и так называемый кредит. И выводит, значит, сальдо на каждую неделю, чтобы мы знали, кто кому должен — мы немцам или немцы нам. Это у нас постановление общего собрания — за все рассчитываться сполна. И чтобы ликвидировать задолженность всеми способами. Обещаем вам, дорогой кум, и всем нашим людям по всей, значит, Америке бить этих иуд-фашистов и днем и ночью, сколько будет возможности!

Вы знаете, американские украинцы, что могила батьки нашего Тараса Шевченка под фашистами! На могиле проклятые варвары поставили пушки и стреляют за Днепр. Вы можете слышать это спокойно? Вы можете вспомнить родную землю и не заплакать, не зарыдать от страшной обиды?!

Плачьте, земляки. Не стыдитесь рыдать! Горе слезами сыто. Только недолго. Время теперь очень дорогое. Немец может и на вас полезть через океан.

Как ваше собрание скажет — может ли каждый украинский клуб наших людей в Америке прислать нам оборудование для одного госпиталя? Чтоб было по-хозяйски: пятьсот клубов — пятьсот лазаретов. А где и больше осилите — милости просим. У нас, земляки, очень много крови льется — народной, честной, святой. Нужны госпитали.

И дело вашей чести понять это, дорогие друзья. А мы кланяемся вам с полей жестоких битв, на которых не жалеем жизни за свою отчизну и за мировой прогресс, в том числе и за Америку. И с тем до свидания, желаем вам счастья и здоровья, и вот о чем и идет наша речь.

18 сентября 1941 года



МАЛЕНЬКИЙ ФАКТ

Письмо актера к другу

Вот, брат, подлинный тебе случай по свежим следам. Попробуй, сделай из него какую-нибудь драматургическую сценку на злобу дня. У меня и то чесались руки, но удержался: пиши, брат, ты, а мы, актеры, сыграем тебе по всем правилам Станиславского.

Я уже политрук роты — вот куда хватил актер театра Юного зрителя! Пишу на ящике из-под мин, хлопцы думают, что это я доклад им готовлю, и ходят на цыпочках, а их сапоги от этого невероятно скрипят. Диденко, вижу, несет мне ведро воды для душа и нерешительно ставит поодаль, заметив, что я пишу. Он заметно за мной ухаживает, чем-то я ему понравился и приворожил его украинскую душу, — может, тем, что неплохо пою, а он падох на все, так сказать художественное. Внешность у него самая импозантная: мужчина средних лет, крепкого сложения, кулаком вола убьет. Вот недавно, увидев, как гитлеровский офицер застрелил нашего лейтенанта, Диденко кинулся на фашиста, схватил голыми руками за шею и задушил.

Далеко позади остались мои театральные интeресы, новые роли, публика, рецензенты. Просто физически ощущаю, как возмужал и даже... поумнел. Ты не смейся, брат, это — очень приятное ощущение. Оно рождается от близкой опасности, от исполненного долга, от чувства родины на поле боя.

Я хочу тебе написать про один маленький факт нашей боевой обстановки, пока его не заслонил сотня похожих фактов, и я еще вижу его во всех мизансценах. Итак, слушай внимательно.

Сцена первая, явление, так сказать, тоже первое. Подразделение красноармейцев под командой молодого политрука Р. (это, значит, меня самого), выходит на разведку в близлежащее село нашего украинского фронта борьбы с немецкими захватчиками. Само собой разумеется, идем скрытно: роскошные подсолнечники покачиваются по обеим сторонам дороги, роскошное утро (извини, этот эпитет уже был), — все необычайно — и утро, и пшеница, как море, и ветер, до боли сладкий и мирный. Хлопцы идут молча. То один сорвет спелый колос, разомнет его на ладони, сдует мякину, полюбуется зерном, то другой подбросит горсточку зерна высоко в утреннее небо. Никто не промолвит ни слова. Вот уже село близко, справа протянулись к низинам огороды, за огородами — лесок сосновый и разный.

Подошли ближе к огородам, замаскировались, наблюдаем. Вдруг из одной хаты выходит женщина и направляется по дороге прямо к нам. В руке она несет ведро. Мы ждем. Женщина (это высокая крестьянка с ясным, добрым лицом) равняется с нами, и мой Диденко не выдерживает: «Доброго здоровья, молодница, куда это вас бог несет?» — «Доброго здоровья, — отвечает молодница, — несу панам-немцам кушать». В ведре у

нее — кувшин с молоком, творог в капустных листьях, белый крестьянский каравай.

«А где же они у вас пируют? — не унимается Диденко. — Далеко ли отсюда?» Молодица отвечает, что близко, и показывает на лесок. «Вон аж за теми кустами у них пост стоит, немцев с десятков будет, а харч от нашего села». — «Вот так и кормите? — спрашивает Диденко. — А мы за вас, дурных, кровь льем». — «Мы и сами так думали, — говорит молодица, — да наши партизаны приказали нам пока что покоряться — для какой-го стратегии, или как там...»

Мы посовещались и решили захватить этот немецкий пост, хотя нас было значительно меньше. Молодица вмешалась в разговор: «У них с этого края стража стоит, вы ударьте их от большого леса, там безопаснее».

Поблагодарив крестьянку, мы хотели уже идти, но она остановила нас: «Обождите, люди добрые, я сначала отнесу им еду, у них все по часам. А то, ежели меня долго не будет, они затревожатся, и вам тяжело будет их застукать сразу». Мой Диденко не выдержал да, грешным делом, как ругнется: «Да что это вы, тетя, за дураков нас принимаете, что ли? Ведь вы сами можете их предупредить, а?»

Молодица не смолчала Диденко: «Дурень, ты, дурень! А еще здоровый вырос, как барбос! Ты думаешь, советская власть тебе дороже, чем мне? А может, у меня брат и муж на фронте! Тыфу на твою дурную голову! Иди, чтоб тебе не вернуться!»

Тут уже вмешался я и разрешил ей идти по своему делу. Ее рассуждения имели полный смысл. Она так искренно и с таким чувством бранила Диденко и так картинно плюнула в его сторону, что я не мог ей не поверить. Думаю: чем я рис-

кую? А молодица прехорошая, лет ей, верно, под сорок, походка спокойная и даже величественная, голову несет, как не каждая тебе Мария-Антуанетта на нашей сцене.

Молодица исчезла с глаз, а мы стали осуществлять обходный марш в сторону большого леса. Где ползком, где на четвереньках, приблизились к вышеназванному вражескому местопребыванию метров на пятьдесят, выползли на песчаный бугор и смотрим. Действительно, сидит кучка немцев в живописных позах, солнышко с нашей стороны бьет им прямо в морды, знакомая молодица стоит чуть в сторонке и пригорюнилась.

«Ишь гады, — говорит шопотом Диденко, — возьмем их на момент, или как?» Так и сделали. Подал тихо команду, а тогда как выскочим, наставив штыки, — немцы и моргнуть не успели. Бледные, руки подняли, трясутся.

Диденко живым манером вяжет пленных и между делом обращается к молодице, а она во время атаки и не тронулась с места: «Что ж ты, глупая баба, стояла, как пень? Отдала бы им харч — и айда! Ведь мы могли в них и гранату кинуть, пропала бы ни за грош!»

Молодица оправляет платок на голове, ну, прямо, как Катерина в «Грозе», и спокойным голосом отвечает: «Боже мой, какие темные! Я им помощь оказала, а они и «спасибо» забыли, как дикари, ей-право!»

Молодица забрала свое ведро и пошла, а Диденко только горько вздохнул и так дернул одного немца за пояс, что тот клацнул зубами, как лошадь.

Вот, брат, какие факты встречаются в действующей армии на фронте отечественной войны. Да ведь такую советскую женщину можно прямо в

пъесу! Будь уверен, выйдет на сцену таким шагом, что некоторым героиням и не снился... За мате-
рлалом обращатьея к политруку роты, полевая
почта номер... Действующая армия.

24 ссентября 1941 года



ГЕНЕРАЛ МАКОДЗЬОБА

*Письмо партизана Карпа Макодзьобы
генералу фон-Леер*

Слушай ты, дурень божий. Мало даешь за мою голову. Десять тысяч марок — это не настоящая цена. У меня в колхозе один жеребец английской породы стоит пятнадцать тысяч золотом. А ты за меня даешь бумажных десять. Не обеднеет твой Гитлер, если и сто заплатит. Тоже нищие нашлись — привыкли жить нашармачка! А ты сам, хоть и генерал, да неумытый, хоть вояка, да куций, хоть и ученый, да дурной...

Я, Карпо Макодзьоба, объявил тебе войну, генерал фон Леер. А когда тебя чорт заберет, я объявляю войну каждому гитлеровцу, который станет на твое место. Вот так себе и знай. Я на ветер не привык говорить. Что скажу — сделаю. У меня и сыны такие — как ухватятся, не вырвешься! И двое зятьев в пару моим дочкам. Всех благословил на фронт: пятерых сыновей и двух зятьев. Вот какой я богатый. И дети у меня не конфузные: кто на коне — того не спихнешь, кто в танке — того не выковырнешь. На самолете, как орлы, в пехоте, как черти.

Десять тысяч марок — скупой у тебя хозяин. А может, малость набавишь? Сам знаешь: деше-

вая рыбка — плохая юшка. Я не генерал, хоть ты и называешь меня в своем объявлении «генерал Макодзьоба». Я выше генерала. Я — народ! Теперь понимаешь, какой ты дурак? Разве народ можно купить?

А может, я немножко и генерал. Когда мы захватили твой штаб, а ты в одних подштанниках выскочил в окно, мне было приятно познакомиться с твоими планами и после выкинуть их в мусор. А твой мундир с железным крестом мои партизаны надели на чучело в огороде, чтобы вороны не клевали огурцы. Вот за что спасибо, так это за карты. И спасибо за пометки, где что стоит, как называется и где аэродром. Мы успели хорошо похозяйничать, сам знаешь. Одиннадцать твоих самолетов — как корова языком слизнула? А восемь сожженных танков, — это тебе жук на палочке? А шестьдесят пять машин вверх колесами? А сто семь мотоциклов? Целый пруд горячего, помнишь? А штук двести автоматов? А пять мостов? А пушек, а коней, а мин? И ты после всего этого даешь за меня только десять тысяч?!

— Я — украинский народ, генерал фон Леер. Твой Гитлер мечтает уничтожить меня, стереть с лица земли, чтобы моей страной завладела фашистская сволочь, чума двадцатого столетия. Никогда этому не бывать! Никакая сила не оторвет меня от моей земли. Размозжи меня вчистую танком, вдави на аршин в землю, каждую косточку раздробь, каждую жилку разорви, а я все одно встану и пойду по моей земле, и жить буду, и буду сеять, сеять, да еще и петь буду!

Я, Карпо Макодзьоба, объявляю тебя вне закона. Пусть отсохнет рука, которая подаст тебе напиток, пусть повылазят очи, которые тебя пожалеют. Ты, карая меня, повесил пятьдесят невинных людей. Я, карая тебя, повешу вместе с тобой

сотни палачей в Германии. На каждом месте, где встретишь моих людей, тебя ждет собачья смерть.

Скажи твоему Гитлеру, что нам тяжело уничтожать социалистическое добро. Мы плачем кровавыми слезами, поджигая наши дома, разрушая села и мосты. Мы, как ребенка, лелеяли всем народом Днепрогэс. Вырастили, как игрушечку, стоял он, как наша сила и слава. И вот его нет. Ревут снова грозные пороги, вынырнули из-под воды. Мы знали, что так надо. Но еще сильнее, еще краше станет новый Днепрогэс после нашей победы. И гордая, величественная Страна Советов будет гордиться нами, своими детьми.

Только не ждите от нас пощады. Ее не будет никому. Вы не будете знать ни дня, ни ночи, пока не выправите всё зло, учиненное вами на земле. Пощады не просите. Ее не будет!

В чем и подписываюсь.

5 ноября 1941 года



ВИНО ПОБЕДЫ

*Письмо грузинских колхозников
украинским друзьям*

Гамарджвеба, дорогие друзья! Наша переписка на время прервалась было, пока через ваш колхоз проходил фронт. Теперь вы очутились в немецком тылу, но у нас есть все возможности поддерживать связь, как и прежде. Только не мирной почтой, а партизанской. Мы получили известие, что ваш уважаемый председатель находится в рядах победоносной Красной Армии,—прибавим, кстати, что и наш председатель Ваню не отстал ни на один день: он тоже на фронте отечественной войны. Те-

перь руководят колхозом наши героические женщины: жена Ираклия, жена Ваню, невеста Симона и другие, знакомые вам лично и из переписки последних двух лет.

Дорогие друзья! Продолжим и теперь наше соревнование. Пусть немцы не думают, что мы можем забыть друг друга: грузинский колхоз имени Ленина и украинский — «Шлях Жовтня». Пусть эти коричневые мерзавцы знают, что сталинскую дружбу народов не нарушат никакие бедствия, никакая временная потеря территорий и городов. Прекрасная традиция цветет в колхозах: отчитываться друг перед другом под конец хозяйственного года, в день Сталинской Конституции. Не будем нарушать этой традиции.

Итак, начинаем наш отчет. Цитрусовых мы собрали больше, чем в прошлом году, на тридцать семь процентов. Виноград сдали своевременно, вино выдаем повышенного качества, несколько бочек заложили в колхозные подвалы ко дню радостной с вами встречи после разгрома фашистских оккупантов. Вино победы — это очень красиво, дорогие друзья! Старый Акакий сам написал мелом на бочке эти слова. Вино победы! И уже как будто готовит достойный тост к будущему всенародному банкету.

Наш колхоз полностью освоил предусмотренные договором неудобные земли и засадил их цитрусовыми в количестве десяти тысяч штук. Мы заложили также небольшую чайную плантацию — по вашему совету и пожеланию. Все обязательства перед государством выполнили в срок и полностью, и с превышением. В фонд обороны сдали мясо, шерсть, облигации, серебряную посуду, теплые вещи, — мы не приводим цифр, потому что не хотим хвастать перед вами, однако, и краснеть нам тоже не приходится.

Таковы наши показатели этого года. Но у вас показатели гораздо выше. Позвольте о них и сказать. Во-первых, вы отлично запахали прекрасный урожай пшеницы и прочих культур, какие нельзя было скосить и вывезти. Во-вторых, вы отлично спалили вместе с массивом ржи еще и порядочный отряд немецких мотоциклистов, устроивших там засаду. Вы блестяще развернули в колхозной кухне массовое производство колючего железного «орешка» и разбрасываете его по шоссе, проселкам и возле мостов. Шоферы немецких автомашин проклинают это «варварское» изобретение, которое тормозит работу их транспорта путем массовой порчи резиновых камер. Вы отлично уничтожили плотину в районе колхоза и в полной мере восстановили осушенное когда-то болото, сделав непроходимым для немецких танков этот участок. Вы во-время угнали в тыл весь ваш скот, за вычетом нескольких коров, оставленных вами для питания маленьких детей. Вы отлично засыпали землей колодцы в вашем колхозе, оставив небольшое количество хорошо укрытых. Вы отлично ведете войну всем колхозом. Мы с гордостью читали в сообщениях Советского Информбюро о ваших славных подвигах, узнавали ваши дорогие имена под скромными инициалами сводок.

Ваши показатели блестящи, друзья. Мы охотно и радостно уступаем вам в этом году знамя первенства и считаем, что вы безусловно заслужили его. Великие воины старых времен, наши грузинские народные рыцари, ваши украинские герои-запорожцы,—все они с восторгом и удивлением узнали бы о вашей битве и победе под городком К., когда вы, объединившись с другими партизанскими отрядами, полностью разгромили штаб крупного неприятельского соединения и покрыли вечной славой отвагу и мужество советских людей!

Дорогие друзья! Вы встретили врага с жгучей ненавистью в глазах, с оружием в руках и с горячей верой в сердце, — мы победим, товарищи! У вас хватило мужества оставить противнику опустошенную землю, сожженные села, разрушенные дома, — вечная слава вам за это, братья! Земля знает, что вы ее законные хозяева, и не будет в обиде на вас. После разгрома ненавистного врага мы все одной советской державой восстановим полностью села и города, хаты и дворцы, шахты и заводы, — вы поступали правильно, товарищи!

Позвольте закончить письмо словами старого кузнеца Серго, которые он произнес сегодня на общем собрании колхоза. Он сказал: «Генацвале! Когда орел бросается в бой, он прячет своих детей. Почему я не вижу среди нас этих детей? Мы ждем их у себя. Мы открываем наши объятия и ждем!» Кузнец Серго — старый человек, его устами сказал народ. Присылайте к нам ваших детей!

Сегодня, в день Сталинской Конституции, мы поднимаем наши грузинские чаши с большим чувством за Украину, за дружбу, за нашу встречу, за победу! И запеваем славную картвельскую застольную песню о любимых друзьях на дороге войны, о двух сердцах, которые бьются, как одно...

3 декабря 1941 года



ДЕД ДАНИЛО ИЗ «СОЦИАЛИЗМА»

По всем признакам это был колхозный двор. Он стоял на краю живописного села Н. у реки Псел. Я осторожно постучал в темное окно — никакого ответа. Наученный двумя неделями ночной жизни, я удобнее уложил раненую руку и ждал. Какая

волшебная надо мной расцветала ночь! Сентябрьские ночи родины, не забыть мне вас никогда! Земля Полтавщины, политая моей кровью, будь благословенна в жизни!

Я стоял. Рука тихонько ныла. День я проспал в зарослях конопли у семидесятилетней вдовы — Секлеты. Она меня нашла на заре у своей хаты. Перед этим я за ночь прошел немало километров, шагал вброд через реки, брел по болотам, вымок, замерз и устал. Как очутился у хаты Секлеты — не знаю. Проснулся от ее причитаний:

— Рученька ты моя, искалеченная! Головушка ты моя, раненая!

Выглядел я в самом деле страшно: обросший бородой, перевязка на руке пропиталась кровью, на голове — кора из бинтов, крови, грязи. Изорванная красноармейская форма, рубашка без пояса, очки.

Баба Секлета поплакала надо мной, накормила яичницей и молоком, тайком отвела в коноплю, положила спать на весь день. А ночью вывела на шлях, повесила мне на шею сумку с хлебом и перекрестила, как мать.

— Ты, сынок, хоть, может, и не веришь, а от этого зла нет, — пускай тебе легкий путь стелется. Пройдешь горкой версты три до «Социализма», колхоза, и постучишь в окно.

И вот я стою под окном и стучу. Ни собака нигде не залает, ни сторож не отзовется, — пустырь. Ошиблась баба Секлета, а может, это я заплутался. Надо, значит, итти и самосильно искать переправы на другую сторону реки Псел, на восток.

Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я испуганно отшатнулся.

— Не бойтесь, — сказал голос тихо, — вот я только возьму хлеба на дорогу и пойдем.

Я молчал.

— Очень голодны? — спросил голос. — Секлета прибежала днем, сказала, перевести вас за реку. А я это запираю колхозные дворы, хоть пусто, да одинаково колхозные.

Я попросил вести скорее, чтобы за ночь уйти подальше. Человек еще ближе шагнул ко мне — в темноте забелела борода.

— Я дед Данило из «Социализма», — сказала борода, — так меня все и знают. Потому что есть еще один Данило, тот в «Парижской коммуне», в колхозе...

Мы пошли — дед впереди, я за ним. Немецкие ракеты чертили небо, густо падали звезды, на горизонте далекие горели скирды, земля по временам дрожала под ногами — на востоке били тяжелые орудия.

Полтавщина милая, вдохновлявшая Гоголя! Война переступила твой порог. Я иду по твоим дорогам, прячась от утра до ночи. Люди твои ведут меня, рискуя жизнью, передают все дальше и дальше на восток. Немцев обходим, города оставляем в стороне. Мысль рождается: приехать сюда после войны, поселиться среди этих людей, ходить с ними и днем, сердце свое согреть их теплом.

— Это мы уже перешли ржаное поле, — говорит в темноте дед Данило, — давайте свернем на другую дорожку. Здесь иногда патруль ихний проскакивает. Чертопхайка трещит, как бешеная, — издали слышно. А вот тут партизаны наши бой давали. Дали такой бой, что земля задымилась. А тогда приехал полный грузовик немцев и с ними один панок бывший. Прочитали бумагу, будто бы вся Полтавская область подарена какому-то помещику Герману Герингу, приспешнику Гитлера. Ну, нет, — помещик у нас не высидит. В с...у при-

печет. Мою старуху тогда из автомата кончили, она им в рожу плюнула...

Мы шли. Две недели уже иду я ногами, выслушивая каждую ночь новые жизненные истории. Мне рассказывают женщины и девчата, старики и дети. Все остальное население — в армии, в партизанских отрядах. Я иду по колена в человеческом горе, среди пепелищ и расстрелянных мирных людей. Иногда в темноте я натакиваюсь среди степи на виселицы — там висят тоже не военные и в большинстве случаев женщины. Под моими ногами шевелится земля, — людей немцы закапывают в землю живыми.

— Вот вчера тоже вел одного, — говорит дед Данило, — хороший такой парень, сам, видно, из летчиков, идет и всю дорогу молчит. Магарыч мне обещал после войны. Прилечу, говорит, к вам, дед, в колхоз самолетом и прокачу под самые тучи. Ну тебя, говорю, к нечистой, еще уронишь сверху да разобьешь деда, как тыкву.

Идем среди торжественной ночи, и грудь упирается сладостными запахами, и мозг хочет запомнить на всю жизнь звездное небо, касание травы о ноги, капли росы, силуэт дерева, родную землю, по которой идешь и идешь без конца.

— Каждый день приходится самому хлеб печь, — говорит дед. — Сколько нашего советского народа по ночам идет. Одну квашню ставлю, вторую месить пора. Как в пекарне. И от каторжных немцев прячусь, — как собаки, рыскают за душами. А вам, товарищ, надо вон тот Воз¹ на небе запомнить. Когда дышло Воста к земле уклонится, вот вам и пристать время, не за горами и утро...

¹ В о з — созвездие Большой Медведицы.

Неожиданно дед остановился, присел и у самой земли стал всматриваться в темноту.

— Идут цепью, — сказал он шопотом, — а нам и свернуть некуда, все равно поймают. Верно, какая-то гадина уже донесла на вас. Ну, ну...

Я был без оружия и раненый. Значит, конец. Повесят среди поля, буду висеть долго под дождями и ветрами. Здесь, выходит, место, где я буду прощаться с жизнью. Тихая ночь Полтавщины. Возле меня дед Данило из колхоза «За социализм». Хотя бы он не забыл передать нашим после войны мою фамилию.

И, странное дело, одновременно промелькнула мысль, как я буду когда-нибудь рассказывать про эту ночь, про деда, про запахи ночного поля, про биение пульса в каждой моей клетке...

— Дед, — говорю я, — вспомните меня и дайте знать людям...

Я протягиваю деду первую страницу моего документа, которую я прятал всю дорогу. Дед не взял моего листка.

— По левую руку лезь к реке, помни деда Данилу! — И пошел быстро, тропинкой вперед.

Что это? Дед вдруг запел, отойдя от меня, сливаясь с темнотою. Его голос далеко слышен среди тишины степи. Я побежал влево, пригибаясь, окунаясь лицом в росу. Песня деда летела мне вдогонку: «Вулиця гуде, де козак иде!..»

Я присел. Мне казалось, что сердце стучит громко на все поле. Лицо мокрое, — пот, роса, а может, и слезы. Песня деда все удалялась, и, наконец, ее прервал короткий выкрик. Песни не стало, тишина упала мне в душу, ожидание выстрела. «Я дед Данило из «Социализма», — произнес там на поле сильный голос деда, и его слышно было по всем уголкам степи.

И затем я слышал каждое слово деда и понял,

что это он напрягает голос для меня, чтобы я в темноте не ошибся и уходил бы подальше от него. А я сидел, не чувствуя боли в раненой руке, бессильный двинуться, не зная, как помочь... Голос деда гремел грозно и гневно.

«Никого я не водил ночью!» — и молчание... «Стар я для партизанского дела!» — и тишина... «Можете убивать, больше ничего не знаю!» и звезда падает над дедом... «Режьте, душегубы!» и снова тихо... «Не будет по-вашему никогда!» — и треск костей под прикладом... «Слушайте, люди!» — и короткая очередь автомата...

Я тогда побежал. По левую руку над лесом звездный Воз клонил дышло к земле. Я бежал искать пристанища на день. И я рассказывал на бегу всем, всем про смерть деда Данилы.

31 декабря 1941 года



ШКОЛЬНИК

...Мне тринадцать лет. Наше село тут же, за Днепром. Про нас говорят через это — заднепряне. Летом ходит паром, а как Днепр и Конка замерзнут, тогда дороги делаются лучше, — все села ездят к родным и к кумовьям в гости. А мы, школьники, учимся. Мы здорово учились раньше, в то мирное время, когда немцы сидели у себя дома и не лезли к нам на цветущую советскую Украину с кровавыми ножами.

Учитель сказал, чтобы мы все записывали про войну, а сам ушел на фронт. Потом соберемся, кто в живых останется, прочитаем тетрадки. Ничего не потеряется для истории, как оно было. Вот я и

записываю все в свой новый блокнот для науки и истории.

Наше село насчитывает пятьдесят одну хату. Место не какое-нибудь, а историческое. Мне лично рассказывал дед Демьян, когда мы с ним пасли колхозное стадо. Место историческое — тут давно, давно когда-то, не на нашей памяти, была настоящая Запорожская Сечь. От ее исторического духа люди наши крепки и высоки, как дубы. Не уступят ни шагу — гордые и благородные. Деда Демьяна немцы били прикладами, но он не упал на улице, а дошел до хаты и помер на лавке.

Меня лично зовут Иван, по фамилии Шевченко. Мне нравится такая фамилия. А это я так подписываюсь, точь-в-точь, как мой старший брат Грицько: «Сержант Григорий Шевченко» — это я за него расписался. Я на брата похож и лицом, только до сих пор зовут меня «мамин мизинчик», потому что никак не расту. Уже мне тринадцать доходит, а никто больше десяти не дает.

Мой отец в партизанах. Он председатель нашего колхоза. Сестра Ганнуся в Красной Армии выносит из боя раненых, которые не могут сами идти. Мать и неродного нашего деда расстреляли в овраге у обрыва. Я живу теперь один. Всю одежду немцы разграбили, и я сплю в печи или еще где-нибудь. Отец приказал стеречь хату. У меня есть собака, только она днем от фашистов прячется, а ночью прибегает. Стреляли и в нее из револьвера, ногу перебили.

На все наше село, где была когда-то Запорожская Сечь, я теперь один украинец. Людей совсем не осталось, одни немцы. Они сделали себе из нашего села крепость. Оплели все овраги колючей проволокой. Холмы перекопали, — наделали рвов. Навалили кучами снег и облили его водой, чтобы сделался лед. Везде поставили мин. В хатах вы-

рыли глубокие ямы, застлали их толстыми дубами да еще и железом. Живут под землей, как кроты, во двор совсем не выходят. Где спят, там и пако-стят. Некультурность ихняя поражает человека.

Всех людей из села начисто повыгнали. Старух и дедов, которые не могли ходить, заперли в клуне и там уморили на смерть. Хату звеньевой Одарки приспособили для красивых девчат, которые должны пить горилку и танцевать с немцами. Наши боевые девчата, те, что не успели уйти, не покорились фашистам. Про это я решил написать особый блокнот: как они захватили у немцев оружие, даже гранаты и дали такой исторический бой в нашем селе, что немцам пришлось разбивать одаркину хату прямо из пушек. Я сам был близким свидетелем и даже носил для боя воду из криницы. Конец дела не застал, потому что девчата меня прогнали, обвиняли, что я маленький.

В той хате теперь никто не живет, — она вся разваленная и пустая. Я там иногда прячусь. Сначала страшно было, а теперь ничего. Под хатой, в подвале, я сделал для себя красный уголок. Там на стенах наши родные люди: Ленин и Сталин и Гарас Шевченко. Я на них гляжу и вижу по их глазам, что мы одолеем немцев непременно.

Фашисты — дураки. Думают, что они одни и никого поблизости нету. А я есть, пускай попробуют найти. Я живу тихо, как мышонок. Могу незаметно вылезти из села и притти потом назад через все мины. Ни одна соломинка не шевельнется. Если нужно, я могу сделаться, как куст сухого бурьяна. Или, как сноп сена. А еще могу стать веткой боярышника, когда на него снег падает. Целый день так просижу и не шелохнусь. Называется — маскировка.

У меня есть полная кадка патронов. И мины спрятаны под снегом. И свой собственный автомат.

Я унес его с немецкой машины. Ручные гранаты и ракеты я прячу по разным углам, чтоб всегда были под рукою. По ночам я хожу с револьвером и автоматом, тогда никто не скажет, что я маленький.

Наше село очень красивое и выдающееся. Оно стоит на возвышенном месте, и потому его видать издалека. Я помню, когда я был совсем маленький, у нас одну кинокартину снимали, и грузины к нам в колхоз приехали в гости, и даже писатели у нас в школе выступали и танцевали с учительницами, а потом пели народные песни. Я только забыл их фамилии. Очень известные!

Я никогда не помирюсь с немцами. Этих проклятых душегубов я буду уничтожать до последнего. Я, между прочим, сложил про них сатирический стих. Не хочу тут записывать, потому что нехватает еще одной рифмы. Например, к слову «людоеды» подходит «бьют торпеды», а мне нужно, чтоб были танкисты.

Хочется почитать наши советские газеты, чтобы быть в курсе мировой политики. Порой, когда пролетит наш самолет, я все жду, что он сбросит мне печатное слово большевистской правды. Вероятно, он не знает, что я тут.

У меня есть «Кобзарь» Тараса Шевченко. Я и сам из Шевченков, только Иван. Вот я и постановил выучить между делом весь «Кобзарь» на память. Когда меня паразиты станут вешать, я громко буду читать слова батьки Тараса. Это мне так видится моя смерть в крайнем случае.

В моем «Кобзаре» нехватает несколько страничек. Про это я тут напишу — может, кто узнает ту женщину, что висит у нас среди села на тополе. Дело было так. Чужая старуха — из дальнего колхоза — пригнала стадо коров к нам, на эту сторону Днепра, чтоб коровы не достались немцам-оккупантам. А немцы как раз наскочили с другой

стороны, и женщина дальше не ушла. Поставили ее германы на телегу, согнали весь народ и велют опознавать. А люди толкают друг друга: «Если скажем, что чужая, повесят». И все сказали, что женщина наша, вон там она живет, отпустите ее, не надо ее вешать. Только ничего не помогло.

А сама женщина не оправдывается, ни о чем не просит, глядит куда-то в небо — поверх немцев, поверх крыш — далеко, далеко, словно слепая. Я рядом стоял и все видел. Только такие слова сказала: «Рости, рости, тополенько, все в гору, та в гору...» Это она из «Кобзаря». А когда ей накинули петлю на шею, вымолвила: «Сынку». Офицер выхватил у нее из торбы «Кобзарь» и завизжал как бешеный: «Интеллигенцион!» Потом выдрал несколько листов, поджег их и стал палить ей руки. Теперь женщина уже второй месяц висит на тополе. А маму и деда за нее расстреляли в овраге. А народ из села выгнали. А я учу, «Кобзарь» этой женщины на память весь.

Я с немцами-оккупантами никогда не помирюсь! Пока все они не полягут мертвыми! Если мне становится уж очень страшно с ними, я иду к той женщине, сметаю с ее лица снег и смотрю. У меня тогда загорается в душе. И я кричу про себя: «Кары немцам, кары!» Я по ночам пускаю им ракеты — прямо в окна. Рву провода, по которым они разговаривают. Переставляю их мины на те дорожки, по которым они сами ходят. А еще я поливаю сквозь дырочки ихние харчи керосином, протыкаю шилом колеса на автомобилях и мотоциклах, спрятанных по клуням. А иногда швырну под самые двери гранату. Им страшно, они у меня скоро с ума сойдут. Выскочат ночью из хат, да как начнут палить из автоматов! Это что! меня напугать. А я только кричу: «Кары немцам, кары!»

Я решил не давать им пощады! Прочь, проклятая немчура, из нашей Запорожской Сечи! Читаю «Кобзаря» и вижу, как солнце всходит и мама гладит меня по голове, и я сам, как Тарас Шевченко, снова живу на земле среди своих людей.

2 марта 1942 года



КАШЕВАР

Перед вами, товарищи, начальник разведки полка.

Фигура, как видите: войду в дом — сразу тесно становится, не повернешься. На меня ни ботинок не подобрать, ни фуражки, брюки, самые длинные — короткие, рукава у рубаш — по локоть. Характер — тоже не на меня шит. В душе я — лирик, мухи не обижу, козявки не задаваю.

В сельской школе (я преподавал в младших классах) дети мне прямо на голову садились. Занятная вещь — детская душа. Там лежат какие угодно зерна: и плохие, и хорошие. Будешь поливать одни — вырастет пшеница, будешь лелеять другие — раскустится бурьян.

Я добр — от сознания собственной силы. Бывало, выйду с парнями на улицу — все меня боятся, водки тащат, заискивают. В городе сильный человек не такая уж цаца, а у нас, по селам, — ежели силен, значит, и пан.

На фронт я попал летом. Приютила меня пехота. Выдали мне винтовку, патроны, всю амуницию и поставили кашеваром. «Раз ты, — говорят, — из учителей, значит, у тебя талант на кашу». — «Ладно, — говорю, — смейтесь». Стал я на кашу.

Месяц проходит, а я никак не могу привыкнуть войне. Только где стрельнет — меня лихорадка на метр от земли так и подбросит. Только слышу самолет — места себе не нахожу, не смотрю и на знаки — чужой или наш. Как-то с перепугу в пруд залез, чуть не утонул. Да что там говорить — даже из собственной винтовки боялся выстрелить. Такой, извините, псих. А уж если где взхнет мина, мне так и кажется: лежу на том свете.

Думаете, я с собою не боролся? Да как еще! Однажды привез обед на батарею, а они как раз готовились к бою. Так я взял и привязал себя вожжами к дереву, чтоб не удрать, когда испугаюсь. Только ничего не помогло. Когда орудие, значит, выстрелило, я так перепугался, что не помню, как и вожжи порвал, — пустился наутек.

Меня и стыдили, и на собраниях прорабатывали, и в газете попарили, — боюсь, да и только. И замечаю, что с каждым днем боюсь все больше и больше. Боюсь так, что прямо мурашки по коже бегают... Сам себе опротивел. Хоть бери и садись в клетку к хорькам, чтоб людей не позорить.

Почему-то мне казалось, что все пули, гранаты, снаряды и мины летят мне прямо в живот. А когда я пробовал убедить себя, что это не совсем так, — ноги сами начинали бежать, в животе кишки замерзали, душа прыгала в пятки и еще ниже. У меня был земляк Карпо из комендантского взвода, человечек мелкий, мне по пояс. А храбрый и отчаянный, как лев. Пускай там сто пушек и двести пулеметов вокруг стреляют, — он будет сидеть и спокойно обедать. «Карпо, — бывало говорю, — молю тебя, научи ради бога, у меня сердце разорвется от страху». Карпо и отвечает. «Очень просто, товарищ гоп-каша, чтоо не было страшно, надо не бояться...»

И вот, наконец, пришел мне конец. Наша часть

попала в окружение. Бегу я для связи на левый фланг. Не знаю, что со мной делалось, когда я приблизился к переднему краю. Начали хлестать пули. Завылли мины. А мне все слышится вдесятеро. Упал на дорогу да как зареву, точно бык — за километр эхо идет. И всего меня трясет, подбрасывает, ну прямо — черная болезнь.

Набрел на мою драму наш командир. Что-то кричит, приказывает, а я и головы не могу поднять. Как он меня вытянет палкой: «Где винтовка?!» А тут подбежал Карпо с одним бойцом. Командир приказал: «Отведите и расстреляйте! Нечего с ним цацкаться!»

Ведут меня, раба божьего. Вот, думаю, докрутился. Дома мечтал об отличиях, о геройстве на поле боя, а гибну, как последняя падаля. Так мне стало горько и стыдно, что я света не взвидел, и плу неживыми ногами к последнему своему рубежу.

Остановились мы. Глянул я вокруг: какой же свет хороший, словно впервые увидел. А себя ни капельки не жаль. — так мне и надо, никчемному человеку! «Стреляйте, хлопцы, будь я проклят, хорошо сделаете. Я бы сам себя разорвал на куски. Бейте наповал!»

Бойцы подняли винтовки, да тут же вдруг попадали на землю. Я оглянулся и увидел метрах в полета группу немецких автоматчиков, они шли по высокой пшенице прямо на нас троих. Еще издали они, как индюки, галдели: «Гальт, гальт, гальт!»

Я никогда не забуду этой картины. Лесок молодой, вдоль него — по самый край поля — пшеница спест, мир и тишина, солнце просвечивает каждый стебелек; немцы идут без касок, головы коротко подстрижены, курточки расстегнуты, под ними голое тело, штанишки коротенькие, колени и икры сухие, точно куриные, к животам прижаты

новенькие автоматы; «Гальт, гальт, гальт!» — клацают их челюсти; у одного на носу очки, другой с трубкой в зубах, кое у кого железные кресты на груди, идут, словно пожарные со шлангами в руках, сметать славянское племя с лица земли...

Необычное и новое чувство охватило меня. Ах вы, сучьи дети! Каждый нерв напрягся. И это вас я боялся?! Мозг загорелся ясным пламенем. В глаза словно кто сыпнул перцу. Спокойная ясность и четкость мысли... «Ложись! — крикнул мне Карпо. — Давай!»

Я стоял, когда немецкие автоматчики открыли пальбу. Но теперь я твердо знал, — ни одна пуля меня не тронет. Я уже не боялся. Так бывает. Карпов товарищ вдруг упал, раненый. Я быстро наклонился, схватил его винтовку и стоя выстрелил прямо в морду первому автоматчику. Тот качнулся вперед, но упал навзничь. Карпо положил другого гитлеровца. «Рус, сдавайся!» — крикнул задний пискливым, противным голосом.

Я перескочил через межу и кинулся прямо на них, влетел в самую их гущу. Одного швырнул через себя штыком, о второго вдребезги разбил приклад. У третьего вырвал из рук автомат и стал лупить их по головам. Движения мои были точны и спокойны, механическая сила управляла мной, я сам себя не узнавал. Автоматы мне казались игрушками, люди — манекенами, они валялись, как деревянные, в обе стороны. Злоба и ненависть жгли меня, азарт боя, стремительность рукопашного боя. Я видел, как вылетали пустые гильзы из их автоматов, но не слышал выстрелов и не думал, что летят пули. Ни одна пуля меня не тронет! Двое немцев кинули оружие, подняли руки, больше не было ни живой души. Но я не остановился, мой автомат, как молот, еще дважды опустился на их головы. И тогда я впервые огляделся.

Я не поверил, что это дело моих рук. В потоке таинной пшенице издыхали немцы. Оседала легкая пыль. Я оцупал себя. С десяток пуль так зацепило. Тяжело раненный Карпо застонал. Я взял его на плечи, подобрал, как дрова, немецкие автоматы и пошел потихоньку — доложить командиру.

Надо мной рвалась шрапнель, и рядом взорвалось несколько мин, но я только усмехался и с грустью думал, как много я потерял за время позорного пребывания в трусах.

17 марта 1942 года



УКРАИНКА

Сильные руки двух танкистов легко подняли ее над головами и поставили на командирский танк. Девушка утомленно окинула взглядом лесную поляну и танкистов, выстроившихся на ней, и неожиданно усмехнулась — прямо в высокое голубое небо. Стояла на танке нежным воплощением мирной жизни, глядела на танкистов глазами их матерей, сестер, нареченных и жен. Высвободила из-под широкого платка руки, бережно подняла их, протянула вперед. Танковая бригада, вся как один человек, всколыхнулась: рук у девушки не было, только обрубки, замотанные в марлю.

Шумел лес, будто тяжело дышал и не мог успокоить биение исполинского сердца, и тоненькие ветки в небе наклонялись одна к другой, как и люди в толпе, и земля под ногами деревьев дрожала от далекого орудийного боя, и птицы несмело чирикали, — война ворочалась на западе.

— Товарищи танкисты, — сказала девушка спокойным голосом, спрятав руки под платок, — я сама родом из Полтавщины, Хоролского района, мне семнадцать лет исполнилось прошлым летом. Зовут меня Марийка. Я жила со своей матерью. Я кончила семилетку в селе и поступила в звено Параси Бойко. Это то звено, где все девчата, все мы четверо, были орденосцы. Э-э, нет, вру, — сначала я работала у другой звеньевой...

Спокойный голос, как голос сказки, падал холодными каплями в сердце, поднимался и опускался, переходил порою в песню. Мягкое полтавское «л» марийкиной речи звенело серебряной нитью в воздухе. Какая же она тоненькая и беспомощная, какая нежная и детская!

— Руки мои, они были золотые. Я ими все чисто делала и дома и на поле. Бывало, и напряду, и вышью, и состряпаю, и хату побелю, и печь разукрашу да и хлеб испеку, и корову подою, и матушку мою приголублю: гляди, какая у тебя дочка — не ленивая да не гордая, не зазнайка. Кабы мне вернуть мои руки, ой, кабы мне руки! Вернитесь, мои рученьки, на проклятого немца, чтоб ему той мести хватило по смертный конец! Ложат мои руки в немецкой земле, ой, зову-зову, не долетит, кличу-кличу, не доплывет... Братики вы мои родные, возьмите с собою на тот немецкий край!..

Шумел лес, вея холодом в души танкистов, опаяя жаром их сердца.

— Нет, я больше не буду плакать, это я так, не сдержалась. Расскажу все, как было. Меня в звене девчата звали не Марийка, а просто Мрийка¹, это потому, что я все мечтала-мечтала да так в мечтах себе и жила. В Кремле мы ордена полу-

¹ Игра слов: мрия по-украински — мечта.

чали все вместе, вот эту руку мне Калинин пожал, а я и там размечталась: «Вот пусть он меня приголубит, ну, пусть!» А он меня и погладил по голове, вот ей-право! О чем помечтаю, бывало, то и сбудется... Я орден свой в садике закопала, — мама спросила: «И чего ты, дочка, со всеми не ушла? Ты ж знатный человек, тебе нельзя под немцем быть». А я маме моей голову вымыла, гребнем расчесала да и молчу. «А чего ты, дочка, молчишь?» — «А оттого молчу, что осталась я не под немцем, мама, а на своей земле, — в партизаны пойду, вот куда!»

Шумел, содрогался лес. В вершинах его уже бушевали ветры, а разворошить его весь не могли.

— Автомат у меня был немецкий, да гуляла я недолго на воле. Немецев била, добро их палила, спуску не давала, жалости не знала. «Мрийка, — бывало, скажет мне командир, — а помечтай нам, сколько немцев стоит в таком-то и таком-то селе и где ихние минометы, огневые точки?» — «Ладно, — говорю, — мечтать мне некогда, это я до войны мечтала, теперь я разведчица, товарищ командир, — Марийка, а не Мрийка». Но он только засмеется: крепко меня любили в партизанском отряде.

Лес шумел ровным глубоким шумом, тучи спускались низко, плыли, цепляясь за верхушки деревьев.

Однажды я пошла в разведку в свое село. А село у нас красивое. Не потому, что оно мое село, а взаправду все говорят, красивое. Стала на пригорке над Хоролом да и гляжу вниз. Месяц только-только родился, а уже кое-как светит. Тихо и темно в хатах, ну просто пустотою веет от них. Думаю, зайду к маме, проведаю, а она мне все и расскажет. Иду, пробираюсь. Оружие в кустах спрятала и напрямки к родной хате. Нигде

ни собаки, ни часового, не знаю, что и думать. Вот и наша улица. Хата беленькая, двор уютный и груша с краю ветвистая. При луне узнала маму. Мама! — хочу ее окликнуть, да боюсь, бегу с пригорка: — Мама, не меня ль ты высматриваешь?» Подбегаю, а она простоволосая и руки назад прячет. «Мама!» — да как припаду к ней, а она на воротах висит, холодная...

Лес шумел угрожающе, единым шумом, и в его могучих рядах начиналось могучее движение.

— А что мне было делать, когда все село пустое, хаты поразбиты, печи поразвалены? Схоронила маму в садочке и пошла. Ой, горе нашей бедной Украине, а конца еще не слышно, а дна еще не видно, а мера еще не полна! Слушайте меня, все республики, голосом моим Украина кличет, — погибну, а немцам не покорюся, погибну я, а немецкой не буду — спасите, братья!

Лес шумел от внезапного натиска бури, закричали деревья и снова гудут, гудут.

— Ой, куда ж я вас понесла, мои рученьки, зачем дороги не разглядела, зачем горе свое не одолела? А горе мне свет заслонило, иду, да иду, ничего не вижу, от рассвета не прячусь, осторожность забыла, науку партизанскую запропастила, — покуда не ударило мне по сердцу это немецкое «хальт», «хальт»¹. Напихали нас тесно в теплушки, да и отправили в рабство. Никого ни о чем не спросили, ни с кем не поговорили, только «шнель-шнель»², как скотину — в двери, лягнул замок, дернул паровоз, поехали...

Лес шумел: еще раз грудью ударилась в него зря и второй раз встряхнула и в третий загудела, дожидаясь своей поры.

¹ Х а л ь т — стой (немецк.).

² Ш н е л ь — скорей (немецк.).

— А в той Неметчине переполох: мельтеша людоеды, в колокола звонят, бога просят своего немецкого. Гитлер изо всех репродукторов лает слюнями заплевал землю. Природа ихняя без всякой красоты, только что чисто выметено... Не верьте, танкисты, что у них культура, я сама видела, — у нас в колхозном хлеву было больше той культуры. Привезли в какой-то город, мертвых выволокли, а нас, живых, погнали на торг. Вспомнила я всю историю варваров-германцев, и показалось мне, что приехала я в черную ночь, что и они сейчас Гуса сжигать станут, Галилея на пытку погонят. Ходят толстомордые кулаки по торжищу, выбирают промеж нас рабов... — Нет, брешете, не для того нас вольный народ пестовал! Не на то взрастили нас Ленин и Сталин! Не на то Шевченко «Кобзаря» написал. И одного дня не была я рабой: дождалась ночи, подпалила хутор моего немца да и подалась на восход солнца — на Украину!

Шумел лес, билась об него буря по верхам, медленно раскачивала стволы, трепала листья, свистела, гудела, рвала.

— Две недели ночами шла: все-таки поймали. Думала — скоро буду уж дома. Ночевала в лесах да в оврагах — немец ночи боится, ни за что из хаты не выйдет. А все-таки поймали. Потому что выбилась из сил и упала около дороги и лежала без памяти до утра. Повезли меня еще куда-то, продали еще одному хозяину, а чтоб не сбегала, поставили печаткой на руку вечное клеймо. Я у того немца позапирала все двери в квартире и выкрутила газ: пусть дышит до смерти, а сама опять убежала. И бегу на мою Украину, ноги раскровянила, лицо ветками исхлестала, одежду колючками порвала. Бегу и плачу, бегу и рыдаю, матушку кличу, бегу да и бегу. Уж совсем стала до дому

убегать, от голода и холода чуть разум не потеряла, — вон она, мать моя Украина, вон она, моя родная. Встречай доню с чужого края, встречай ветер с синего Дуная!..

Шумел лес и вдруг утих, и настала тяжелая тишина ожидания, — предгрозовая тишь.

— Братики мои милые, соколы быстрокрылые! Немцы руки мои отняли, самое на Украину погна-ли; мол, все смотрите, что тем бывает, кто с немецкой каторги убегает. Страх, говорят, пусть колет людские сердца, ужас студит ваш разум! А я иду землю, как святой кобзарь, и высоко, вот так, несу мое увечье и взываю к мести и зову на расплату! Вставайте, вольные люди, вставай моя, Украина, вставай, советская земля! Вот так иду! Вот так иду!

Шумел лес. «По машинам!» — загрела команда, и двинулась танковая бригада в бой под грохот моторов и лязг гусениц, и долгожданная буря ударила сверху, тряхнула лес под корень, принялась ломать в хаосе и громе. На поляне стояла маленькая Марийка и пела, и кричала вслед танкистам, как хозяйка бури.

4 ноября 1942 года



ЧЕТВЕРТЫЙ — СЕРЖАНТ

Командир лично привел в наш блиндаж младшего сержанта. Дело было вечером. Мы удивились, почему это лейтенант сам привел его к нам. Встали с мест, как полагается, — Швец, Сокилов и я.

— Вольмо, товарищи бойцы, сказал лейте-

нант, — я вам привел младшего сержанта, завтра в засаду пойдете вместе, завтра будет удача. А вы, товарищ младший сержант, пальца тут в рот не кладите, — гитлеровцы называют их танковой чумою, — знакомьтесь:

Лейтенант засмеялся и ушел, а мы стали разглядывать сержанта. Интеллигентный парнишка, лицо еще бритвы не пробовало. Интересно знать, какую он водичкой кроплен и с какого боку к нему подступиться. А он тем временем снимает с шеи автомат и тонюсенько как чихнет!

— Будьте здоровы, — промолвил Швец, — сто тысяч на мелкие расходы, товарищ младший сержант.

— Сто тысяч патронов на мелкие расходы, — поправил Соколов.

— Спасибо на добром слове, — ответил спокойно женским голосом младший сержант и пошел, прихрамывая, к своему месту, скинул шинель, по-хозяйски положил автомат, сел.

Братики мои родные, это была женщина! Вот какой попался нам четвертый квартирант.

Швец от неожиданности чуть не сгорел:

— Простите, может, я сказал чего не по фасону. На таком деле стоим, что вся тонкость души погублена: война.

Младший сержант молчала, будто ничего не слышала.

— Я б на месте наших генералов, — сказал Соколов, — никогда б не пускал женщин на войну. Знаешь, какое около автомата хладнокровие нужно? Сам автоматчик. А она танк увидит, так ей померещится, будто это чорт на пузе лезет.

— Вы все такие речистые? — спокойно спросила женщина. — Что-то вы, товарищ боец, много разговоров разговариваете.

Мы все разом взглянули на нее, мы жгли ее

лазами, сверлили насквозь, мысленно пыкаясь и из блиндажа, а слов подходящих не нашли. Женщина не обращала на нас никакого внимания, будто мы не обстреливаемые фронтовики, а посторонние люди в блиндаже. Она сидела, задумавшись, смотрела куда-то километров на пять юверх наших голов.

— Товарищи ребята, — сказал, наконец, злым голосом Соколов, — я вам открою по секрету дну тайну: смотрите, у товарища младшего сержанта на левом боку гимнастерки, над карманом, аж две дырки для орденов готовы, нитками обметаны, как фабричные. — видите?

— Ну, до орденов-то еще поскать надо, — возразил Швец и засмеялся, — были бы ордена, а дырок наделаем сколько угодно.

— Дай нам, лентяям, награду, — сказал я, — мы и ручки сложим и с воспоминаниями выступать начнем. А воевать кто будет? Это товарищу младшему сержанту такую одежду выдали, должно быть с какого-то орденосца.

— Может быть, — тихо отозвалась женщина. — Похоже, что вы сроду и орденов не видали.

Она занялась своим автоматом, до последнего винтика разобрала его, спокойно и быстро смазала и вновь собрала, как заправский автоматчик. Мы забыли и злость, только тарасили на нее глаза.

— Вы его, окаянного, во как знаете! — не выдержал Соколов, знаток автоматов. — Беру все свои замечания назад...

Женщина тогда усмехнулась и сразу стала красивой и симпатичной, а мы — грубиянами и бессовестными хамами.

— Я научилась разбирать в госпитале, — сказала она. — Ногу лечила, а руки практиковала. А то, бывало раньше, — стрелять умею, ну а все-

го как следует не знаю. Он у меня заслуженный — восемьдесят шесть уложил. А восемьдесят седьмой самое меня не упустил, — вот так и всегда на войне: не ты его, так он тебя...

Мы чувствовали себя карасями на сковородке. Мы просто онемели. Женщина пожелала нам доброй ночи, легла, укрылась шинелью. Соколов, сам кремень, посмотрел, как она спокойно лежит, тихонько кашлянул и сказал одно слово: «Годится».

Поблизости разорвалась мина, с потолка на головы и за воротники посыпался мусор. «Полный фасон, — сказал мне на ухо Швец, — и глазом не моргнула, только шинелью укрыла от песка свой автомат». А утром женщина окликнула нас, — проснулась она раньше, — и вышла, не глядя, следуем мы за нею или нет.

Мы выбрали местечко в поле, среди свекловицы, стали копать засаду против танков. Солнце начало подниматься, когда мы управились. Из села пришла женщина с цапкой и стала возиться с бураками, точно войны и близко не бывало. Мы сидели с противотанковыми ружьями в глубоких щелях, а селянка перед нашими глазами работала. Она долго ходила вдоль грядки и вдруг запела. Полет бурьян, выдергивает сорняк, цапает, наклоняется к каждому листочку и поет тоненько, как жаворонек.

Прямо перед нами лощина, а дорога сворачивала немного влево, и танки должны были подставлять нам свои бока под прямые выстрелы. Я лично любил бить в мотор, а Швец знал и другие слабые места немецкой черепахи. Соколов и женщина-сержант раскладывали поудобней автоматные магазины, противотанковые гранаты, бутылки с горючим, патроны для наших ружей, — все хозяйство. По карте место было стратегиче-

самое важное: с одной стороны, трудно защититься, а с другой — можно было легко прорваться и проскочить во фланг наших подразделений.

Швец умел определять танки километра за три. Он воткнул лопатку глубоко в землю, приложил ухо и стал слушать. Потом встал, снял каску, достал гребешок и расчесал кудри.

— Что, танки? — спросил Соколов.

Впрочем, мы все и так знали, что танки: перед боем Швец всегда почему-то причесывался. Я тоже приложил ухо к земле, но ничего особенного не услышал. Земля непрерывно гудела и дергалась от пушечного грома вправо и влево от нас.

— Танки, — крикнули мы женщине-сержанту, — будьте добры, займите места согласно купленным билетам!

Наш младший сержант в это время подходила к селянке и не обратила внимания на зов. Женщины обнялись, точно приросли одна к другой, потом уселись на землю, о чем-то разговаривая, селянка утирала слезы, а наша, видимо, поддавала ей жару. Наконец вдали показались танки: шесть штук.

— Танки! — снова крикнули мы.

Наш командир оглянулась на танки, будто это не железные черти шли, а скотина с поля, — и по-пластунски поползла к своему окопу. Селянка неумело, на коленях двинулась за ней.

— Без моей команды не стрелять... — сказала нам младший сержант... — Они не кусаются.

Швец поглядел на меня из своей щели, подмигнул и поднял кверху большой палец. Я тоже был доволен, — что ни говори, а в бою не каждый шутит, только высшая категория.

Танки шли. Уже видны белые кресты на бочках. Сверху сидели автоматчики. Холодок пополз

мне за ворот, но долго бояться было некогда. Я взял на мушку передний, а Швецу велел брать задний танк.

— Поменьше нервов, — негромко предупредила командир. Она приказала Соколову вместе с нею лупить автоматчиков, когда машины подойдут близко.

Селянка сидела на дне окопа и плакала.

— Добре, Ганна, — сказала младший сержант, — после слез глаза лучше видят. Вот гляньте, как они лезут. Как гусеницы на бураки.

Селянка выглянула, посмотрела на фашистские танки:

— Ой, боже мой, ужели ж они найдут нас в бураках!

Наш младший сержант усмехнулась, но не успела ответить, потому что пора уже было встречать гостей:

— Внимание! — крикнула она: — По фашистской сволочи — огонь!

Мы начали нашу работу на свекловичном поле.

Не стану хвастаться, но передний танк споткнулся после моего второго выстрела. Окутался дымом. Только дым — не факт: они часто дурят нашего брата. Я послал им пулю на подпалку. И они повыскакивали, как рыжие мыши. Моя напарница — младший сержант — помаленьку, короткими очередями из автомата уложила экипаж и автоматчиков.

— Давайте второй! — сказала младший сержант.

Швец уже укокошил задний. Танки открыли по нас огонь, но попаданий не было. Я никак не мог подбить второй танк, только пули за молоком летели. Он на месте не стоял, вертелся, поднимая вокруг себя пылу и дым — попробуй пой-

м ть на нем слабое место. Я стреляю, а он, проклятый, крутится, как чорт перед ладаном, и стреляет в упор. Я переменял место, приладил ружье из другого окопа.

И все время, беря на мушку танк, я краем глаза видел младшего сержанта. Нас, фронтовики, удивить трудно, но это была классная автоматчица. Она быстро и незаметно меняла места, стреляла метко и точно, никакой обстрел ее не пугал, — у меня у самого получилось впечатление, что свекловичное поле полно наших автоматчиков!

Швец подбил еще один танк. Мне стало досадно. Селянка около меня сказала: «Доброе ружье, гляди, как пробивает». Она чувствовала себя, как в театре или на показе достижений.

Швеца вдруг ранило, он крикнул, чтобы я одолжил патронов. Патронов у меня было не густо, но подвезло, — я прикончил еще один танк. Соколова закидало землей, только автомат торчал из земли. Два гитлеровских танка перебрались через лощину и, подминая под себя свекловую ботву, двинулись на нас.

Младший сержант уже сидела около меня в окопе и не стреляла. Мы готовились бросать бутылки с горючей жидкостью, тяжелые гранаты. Танки приближались. Селянка тоже взяла себе бутылку с горючим, ей не было страшно; она верила нам. Мы швырнули сразу три бутылки, когда танки подошли совсем близко, так близко, что до нас дошел горячий дух от моторов. Один танк вспыхнул, а мы упали на дно окопа, потому что другой ринулся прямо на нас. Раздавлив мое пустое ружье и закрутился над нами, засыпая песком, угрожая втиснуть нас в землю всей своей тяжестью. «Не бойтесь, — слышался го-

лос младшего сержанта, — и этот от нас не уйдет!»

Танку надоело плясать у нас над головами, он сошел с окопа и продвинулся на несколько метров дальше. Мы тотчас отползли в сторону, знали, что танкисты станут кидать сюда гранаты. И действительно, танк остановился, приотворил люк, оттуда высунулась рука, но сержант мгновенно послала туда очередь из автомата. Танк рванулся, сделал разворот и бросился на нас снова.

Тогда, присягая моей боевой честью, младший сержант прижала к поясу две противотанковые гранаты, выскочила из окопа и пошла навстречу танку. Танк не выдержал, уменьшил скорость, потом остановился вовсе и как-то неуверенно дал несколько очередей, потом замолк совсем и не двигался. Младший сержант сделала еще несколько шагов и упала. Селянка очутилась возле нее, подняла на танк руки, как на корову, потом схватила сержантовы гранаты и пошла на танк. Танк молчал. Мы потом узнали, что танкисты были убиты. От раны, которой я раньше не заметил, я потерял сознание. И последнее, о чем я подумал, были шесть подбитых танков на свежловичном поле боя.

Очнулся я оттого, что журчала вода. Селянка хлопотала около младшего сержанта.

— Вставай, мое серденько, — приговаривала она, — вставай, мой козаченько. Вставай, моя Олена Ивановна, вставай, моя душенька. Уже и подмога на машинах пришла, а ты лежишь, мое дитятко. И сердце твое, как пташечка, чуть-чуть трепещет...

— Тетя, — сказал я через силу, — перед вами слава фронта лежит, — зовите громче, сна будет жива!

Селянка в карманах индивидуального пакета вытащила из кармана младшего сержанта платок, развернула его. В нем оказались ордены Ленина и медаль «Золотая Звезда». Показав их мне, она сказала:

— Это же учительница из нашего села.

13 ноября 1942 года



ЗАВЕЩАНИЕ

Старый рабочий тихо ступал босыми ногами по снежной дороге. Размеренно дышали натруженные легкие, прямо перед собой смотрели усталые орлиные глаза, над жилистой шеей висела серебряная голова. Виселица стояла перед заводом, — рабочий в последний раз совершал недалекий путь, которым ходил пятьдесят пять лет: и днем и ночами, по всякой погоде, во всяком настроении, все дни жизни — на работу. Не шутка — последний путь, и тихо кругом, точно война пропадом пропала, точно на сотни длинных лет придушили немцы советскую Украину. В последний путь идет старый рабочий, до последней доходит межи, — в одиночестве, в молчании, мужественно неся сведенное болью, искалеченное пытками тело.

Может, старик был партизаном? Да, да — он и похож на воина, на рыцаря, — идите, как ступает, седой головы не склонит, взглядом прожигает снег и придорожные камни. — партизан, партизан! Но нет, старик партизаном не был...

Завод стоит на берегу Днепра, в память о нем памятник неизвестному юноше, темнобронзовому

и неслимому, что рвет на себе цепи и улыбается Днепру; завод со знаменем первенства в тяжелой промышленности социализма, завод, дававший металла больше, чем несколько европейских держав, завод, для которого прожил жизнь старый рабочий, которому отдал себя, детей, внуков — этот завод лежит в развалинах.

Старик ступал босыми ногами по снегу, не клонила серебряная голова, душа не успокаивалась, сильная воля предков клокочет в ясном мозгу, — ко-где я, может, и пенсионер, а тут **сын**, враже, больше, валяй жестче, — я иду, чуешь ты, — я все равно иду!

А душа его совсем не суровая Кроткий и спокойный, скромный и добрый, он делался суровым только у домы. Тонны расплавленного металла покорялись одному движению белых бровей обер-мастера. Пенсионер? Да перед этим пенсионером жизнь катилась, завод красовался, Днепр пел под берегами, счастье летело от степей, — кто сказал, что старость не радость?

Крымские дворцы встречали его каждый год. Императорский покой в одном из санаториев принимал среброголового обер-мастера доменного цеха, пенсионера социалистической державы. Заходил профессор, выслушивал и выпрашивал, а в окнах синело весеннее море, цвел миндаль, лавром и кипарисом пахла нагретая крымская земля. Старого просили отдохнуть после дороги, и санаторий заливала тишина, только шеф-повар на кухне вызывал кого-то по телефону и взволнованным голосом просил мудреных специй к обеду. А тот, для кого все это делалось, уже тихонько вылез в окно и махнул в черненькой **спеси** сатиновой рубашке прямо в парк. Весна крымского побережья охватил его старое тело, словно соки земли входят ему в душу, — какой

теплый воздух вокруг, птицы на голых еще кустах, как брызги радости, и вот сквозь желтый, сухой прошлогодний листок пробивается зеленый пальчик весеннего цветка, — да это же наш подснежник, боже ты мой, как рано просыпается тут земля!

Старик шел к виселице, не чувствуя босых ног. За что ему такая кара, он не знал и знать не хотел. То ли его немцы вели вешать как заложника, или они считали его партизаном — не все ли равно? Дело не в нем одном — немцы жаждут уничтожить народы и нации. Старый рабочий не хотел разговаривать с такими людьми, и он не вымолвил ни одного слова. Допытывались ли у него о детях и внуках, или принуждали выдать партизан, или увещевали начать работу на старом заводе, — он не слушал. Виселица была перед ним, и голос дерево у ворот завода, и под льдами недалекий Днепр.

Этой дорогой ходил он когда-то с молодой женой, а ребенок играл у него на руках, и так впереди радостно в мире, когда все само дается в руки, — и нет конца-краю силе и нет предела несмелым поцелуям. А потом и сын вместе с отцом ходил на завод, нырял под домну, — род наш домну не обесчестит, глаза у нас острые, уши чуткие и душа доменная: знает, какон в металле тон и какой звон, где скиснет, а где повиснет. Внуки тоже домной не брезговали, даром что в галстуках да в белых штанах у печи, — сказал бы кто раньше, не поверили бы.

Старый рабочий шел к виселице в ясном блеске зимнего дня. Уже видно было, как ветер раскачивает петлю у ворот разрушенного завода, — иду, братья мои рабочие, я все равно иду!..

Разбитые босые ноги оставляют на снегу терзальные капли благородной крови. Военноплен-

ный и мученик — идет советский рабочий, светлый сын украинского народа, идет, и шаги его никогда не замолкнут на позорных страницах немецкой кровавой истории.

Как быстро плывет дорога, морозная, твердая ноги, точно каменные, стучат по льду. Изредка пролают что-то зеленомундирные, нудные немцы. Старик не слушает их.

Глава Седьмая! Они возникли неожиданно, как молния в вешней ночи, и старый мастер от них не отрывался. В кремлевском дворце, — так, как это все было однажды, так, как он не мог рассказать об этом, вернувшись домой, — стояла живая легенда современности, вечный свет лился из ее очей, проникал до самого сердца, обнимал, обволакивал, грел — взгляд Сталина!.. И ровнее шаг по смертной дороге, выше голова, крепче кулаки, — я иду, не пошатнусь, Иосиф Виссарионович, родной, все равно наша правда возьмет!

Старый мастер подошел к виселице. Петля висела на покалеченной старой вербе перед заводскими воротами.

Еще кузня была на месте завода, а уж верба росла, и к ней привязывали кузнецы коней, в ее холодке распивали могогарычи, об ее кору били воблу, ее ствол припекали, пробуя раскаленные конские тавры. Старела верба, а завод разгонялся от нее по большой площади, вырастали домны, пробегали заводские паровозики. Тысячи и тысячи рабочих ходили мимо, а потом и машины двинулись, грохотала приднепровская земля, шелестела продолговатыми листьями верба, цвела веснами, золотилась по осени, затихала на зиму, отбывала жизнь второй сотней вербовых лет.

И вот вербу не узнать. Стоит она ясная, как праздник, каждая веточка убрана снегом, искрящаяся, снежная пыль играет и вьется, торжест-

венно покачиваются ветви, благословляя старого мастера.

Кого это подвели под петлю? Кого подняли и поставили на железную бочку из-под бензина? Перед кем немец так долго держал в руке приговор? Постойте, это же я! Это мне накинули петлю на шею, — только бы не вымолвить слово, не разжать стиснутых кулаков. «Будет оставаться висеть ровно один месяц», — донеслось откуда-то, и вдруг суховеем в степи завертелась земля шибче и шибче, ослепительный блеск, ослепительная боль...

А ночью партизаны выкрали тело и похоронили на горе — над Днестром. Из стиснутых пальцев достали измятый листок. Это было завещание. Старый рабочий пронес его через смерть к своим. Командир отряда сам переписал и переправил через фронт. Некоторые места он не переписывал, потому что они касались только его одного: дед давал своему внуку несколько практических советов в партизанском деле.

«Пребывая в твердом уме и ясной памяти, — прочитали за фронтом, — и не надеясь на естественную смерть под варварской оккупационной властью, и чувствуя ответственность за свои слова перед современниками и потомками, и увидев собственными глазами темную ночь фашистского «нового порядка», и взвесив холодным разумом все, что нашел существенным, — пишу это завещание.

Оставляю вам пустую землю, вытопанную немецким сапогом, — оставляю руины красивых украинских городов, которые сожгла дикая тевтонская орда, покидаю неотмщенную кровь. Неоплаченные долги, дорогие дети мои.

Оставляю вам немецкие могилы в каждом селеньи в наилучших местах, в садочках, возле

хат, на площадях, на скверах. Бандиты думают, если на этот раз им не удалось, то внуки и пойдут дальше от тех мест, где лежат трупы оголтелых дедов. Завещаю вам и приказываю сердцем и разумом: выкиньте проклятые кости из земли. Спалите и развеите падаль — пускай удобряет землю. Много проходимцев было у нас за тысячу лет истории, а где они? Где их могилы? Где их поганые черепа, в которых погасли завидующие очи, — сгнили брехливые языки, навеки закрылись жадные пасти? Нету, дети, — смотрите, чтобы и этих не было!

Знаю и вижу, — не много пройдет лет, как вы поднимите и возвеличите нашу мать, советскую Украину. Делайте все зацово, — промышленность не любит латаных прорех — на старых машинах не разбогатеете. Возводите города — просторные и светлые, зеленые и приветливые. Дорогие строения дешевле стоят. Насадите леса, разведите сады — вишневые, яблоневые, грушевые сливовые. А дороги все обсадите липами да чернокленом. Рыбу разводите лучшую, очищайте реки, поставьте новые гидростанции, перегородите Днепр возле Хортицы и возле Кременчуга.

Планируйте красивые села, выберите из земли военный металл, заровняйте траншеи, землянки, воронки от бомб. Привезите назад все музеи и картины, а которые пограбили немцы или итальянцы, — повытрясите из их душ. А наших людей, коих немцы погнали к себе на каторгу, всех разыщите и привезите домой. Только как следует ищите, чтоб ни одна слеза не осталась неотмщенной.

Партизанам воздайте всенародную славу, и генералов почитайте. Не забудьте детей — много их останется сиротами после войны. Перед нашим заводом в скверике над Днестром посадите

убок из моего сада: пусть и моя память живет
одеи вас...

Прощайте, дети. Я вижу нашу победу и Ста-
лина — отца победы, — на левом крыле Лени-
нского мавзолея среди красных маршалов. По-
ходите счастливо в нашей советской власти, в
дружбе народов навеки вечной...»

31 декабря 1942 года



ЛУЧИ ЛАСКОВОГО СОЛНЦА

Я знал их лично: и майора, и капитана. Они
были корреспондентами одной армейской газеты
и подписывали свои совместные труды псевдонимом
«Чайка», который им придумал подполков-
ник Ч., не очень пробогатый редактор газе-
ты. До войны капитан был лирическим поэтом,
майор — драматургом малых форм.

Вижу их, как сейчас. Бритые лица, пистолеты,
финские ножи, полевые сумки, высокие сапоги.
Военная одежда хорошо пригнана к их щуплым
штатским телам. Сразу видно, что они люди бы-
валые. По одежде можно узнать, где они стены
обтирали в блиндажах, где — землю в щелях. Как
в кузове грузовика толкались, точно в ступе. Где-
то через лужу брели. Где горючий борщ хлебали.

Полет их «Чайки» над фронтом продолжался
уже больше года, их знали и, можно сказать,
любили. Боец, взяв в руки армейскую свою га-
зету, сразу отыскивал знакомую «Чайку». «Чай-
ка» любила юмор, басню, прибаутку. Иногда
«Чайка» пела. Голос ее был несколько хрипло-

ват для литературных салонов, но среди людей фронта звучал достойно.

Вот они сидят и беседуют на излюбленную тему.

— Саша, — говорит майор, — а тогда, у танкистов, помнишь? Борщ, говядина, соленый арбуз, чарка! Роскошь!

Капитан Саша, поэт, отвечал:

— Эх, Коля, — что танкисты! Вот, когда ты на Волге в нефть провалился и нас подобрали саперы, а потом подкинули кубанским казакам, — тогда был харч, и я скажу!

— Как-то я, Саша, в киевском «Континентале» заказал раков. Приносят. Полное блюдо их, чертей. Проверил шейки — свежие. Засучил рукава. повязался салфеткой...

— Ну тебя, не дразни!

— Пива ящик. Соленые сушки. Сыр. Чудесный вечер. Никогда не забуду...

И поэт, и драматург не были женаты. Мирное время в их памяти связывалось с холостяцким житьем, литературными стычками, театральными кулисами. Любили, грешным делом, выпить стопку «медицинскую», потом «командировочную», потом «автобазовскую», — пока их не выводили из литературной ксрчмы поклонники талантов — в довольно-таки нелитературном виде.

На войне они искали славы. Представить себе возвращение в литературную среду в орденах и славе было первой их мечтой. Пусть тогда попробует кто-нибудь сказать, что они неталантливы или не чувствуют пульса эпохи, или скатываются в вульгарный примитивизм, — ого!

— Ну, что мне делать. — спрашивал майор Коля, — если я ее боюсь? Я не собираюсь умирать, я хочу жить, вот что. Как же я могу ее презирать, если я боюсь?

А ты презирай, — возражал капитан.

Хорошо тебе говорить «презирай». Презирай сам, если хочешь. А я боюсь. Боюсь смерти, оттого не могу ее презирать.

— Ну тебя, — сердился капитан, — баба, будь ты проклята! Тебя без славы никакой театр не оставит. А для славы надо презирать смерть.

Пускай не ставит. Что я поделаю? Я смерью боюсь. Вам, поэтам, хорошо. Витаете в небесах. А я человек земли. Знаю, что такое смерть и с чем ее едят. Оттого и боюсь.

Такие разговоры возникали довольно часто, продолжались долго и ничем не оканчивались. Бывая на передовой, «Чайка» в четыре собственных уха слышала, как свищут пули, визжат осколки мин, поливает землю железный дождь. Одна половина «Чайки» презирала смерть, другая — боялась.

Знаешь, что? — говорил капитан. — Если тебя убьют, я напишу легенду.

Не надо легенды, — вздыхал майор.

— погоди. Ты ведь знаешь, что я хотел сказать.

Я не хочу легенды, — повторял майор.

— Если тебя убьют, — не отставал капитан, — опишу твою смерть со всей силой моего таланта.

— Неинтересно. Ну, что ты напишешь? Бледный и растерянный, покойник на карачках полз в блиндаж. Случайная пуля выбила из него испуганную душу...» Так?

— Э, нет, — возражал поэт-капитан, — я так писать не буду. Знаешь, как я напишу? Вот, слушай. «Майор К., закончив беседу с бойцом под жестоким огнем, противника, увидел, что наш левый фланг остановился, командир убит, никто из бойцов не осмеливается поднять голову. «Вне-

ред!» — крикнул майор. Его горячее сердце затрепетало пламенем боя. «За мной!» — кричал он, и его голос, точно гром, перекатывался по блиндажам...» Красота, а?.. Слушай дальше. «Он повел бойцов в атаку. Когда три линии укреплений были пройдены, десятки немецких точек были уничтожены, генерал, наблюдавший бой, послал ординарцев за майором, чтобы поздравить его с наградой. Стали искать майора. Поздно. Он лежал с пулей в сердце, и лучи ласкового солнца...»

— Хватит, — перебил капитана майор, — это штамп. Не годится. Снова у тебя лучи ласкового солнца...

А молоденький лейтенант, — он как раз готовился идти на задание, — снисходительно улыбнулся и этим устыдил капитана. Однако капитан не сдался. Когда они с майором остались одни, он сказал:

— А как же он думал? Должен же ты знать, что я создам легенду, — разве иначе дело пойдет? Только смотри: если меня убьют, чтобы тоже была легенда. Жаль только, что ты не поэт: твоя легенда выйдет малопоэтической и слишком жанровой...

И вот пришло их время... «Чайка» выехала на передний край за материалом для газеты. Для майора и капитана газетной, так сказать, службы, — дело более чем обычное. Машина довезла их до крайнего рубежа, за которым надо было уже идти пешком: иногда на двух ногах, иногда на четырех, а то и на животе.

Было тихо.

— Красота и порядок, — сказал поэт. — Вот, что мне нравится на войне, пока земля под тобой временно не трясется. Тихий ветерок овеивает усталую душу, лучи ласкового солнца...

— Брось, — перебил драматург, — еще накли-

чешь на наши головы! Куда они к чорту все подевались, ни души живой не видно...

«Чайка» продвигалась дальше вдоль какого-то овражка, рассчитывая выйти к позиции артиллеристов, где действовал герой будущего их произведения. Вдруг майор так быстро наклонился, что толкнул капитана головой в спину.

— Поздно кланяешься, — сказал капитан, осторожности ради присев, — пуля уже пролетела. А поскольку она одиночка, то нас должна интересовать ее природа: случайная она или именная?

Поэт-капитан взял прутик, повесил на него свою пилотку и потихоньку поднял. Ответ пришел немедленно. Капитан взял пилотку и стал рассматривать ее.

— Стреляет так себе. Еле-еле зацепил. Дело ясное, Коля, мы напоролись на снайпера.

Николай сидел на дне овражка. Бледный и отсутствующий, в каком-то трансе и апатии. Саше, наоборот, кровь ударила в щеки, глаза горели, он даже улыбался от нервного возбуждения.

— Майор! — крикнул он. — Давай дальше! Вон там ровчак загибается, там переждем и присмотримся, откуда он бьет.

«Чайка» в полном составе двинулась дальше, обдирая колени о какие-то корни, царапая руки. В авангарде полз капитан Саша, держа в руке маузер и подбадривая майора Колю.

— Ты понимаешь, какой случай? Такого случая сто лет ждут!

— Накличешь, — тихим голосом отвечал Коля, — не ползи так быстро, у меня сердце...

Овражек повернул. Прямо перед сашиним лицом торчал чей-то сапог. Саша совсем лег и постукал маузером по сапогу.

Осторожно! — не вытерпел Николай.
Я дальше не иду!

Это была засада стрелка. Гнездо, выложенное сухой травой, замаскированное и обжитое, патронные гильзы, снайперская винтовка в специальной ложбинке, а сам стрелок — мертвый. Пуля ударила в надбровье, выражение боли и удивления застыло на лице, в открытых глазах.

— Неприятно, — сказал Саша, — мы пришли к концу драмы. Фашист взял нашего на какой-то фокус. Дуэль окончена, если не будет продолжения...

— Саша, — каким-то чужим голосом отозвался Николай, — ты видишь, кто это убил?

— Ой! — воскликнул Саша. — Я сразу-то и не узнал.

— Тихо, — прошептал Николай; глаза его блеснули гневом. — Ты помнишь, как он мечтал о детях и жене?

— Значит, дадим продолжение, — ответил капитан, — ты мне таким нравишься.

Поэт-капитан и майор-драматург, то есть вся «Чайка» в полном составе, начали действовать. Труп бойца накрыли шинелью. Две его гранаты взяли себе. Капитан осторожно заглянул в оптический прицел винтовки.

— Местность не сложная. Куча валежника. Дерево. Телега какая-то, что ли... Погляди, Коля.

Коля поглядел. В неумелых руках винтовка шевельнулась, в ту же секунду над головами «Чайки» пропела назойливая пчелка.

— Порядок, — присел Саша, — ты не можешь осторожнее? Так недолго и без глаза остаться!

Николай молчал, обдумывая.

— Знаешь, — сказал он, наконец, — он сидит не в валежнике. А дерево какое-то не натуральное. Я на них за кулисами нагляделся. И пуля летит вроде откуда-то сверху. Надо выманивать.

— Точно, — согласился Саша, — насколько мне известно, снайперское дело — профессия психологическая.

Они сделали чучело красноармейца: с раскинутыми руками, с лицом, скрытым пилоткой. Саша застыл у оптического прицела, а Николай осторожно потащил чучело за собой вдоль ровчака. Шагов через тридцать он начал понемногу приподнимать чучело над краем оврага. Пуля сразу же прошила пилотку.

— Псих какой-то! — буркнул Николай. — Разве сразу не видно, что показываю?

Чучело высунулось выше. Но снайпер уже не стрелял. Фигура с раскинутыми руками подскакивала над ровчаком, танцевала, дразнила фашиста. Иногда она пряталась и снова появлялась, в еще большем ажиотаже размахивая руками. Даже простым глазом можно было видеть, что это чучело.

Саша на миг оторвался от прицела и испуганно закричал:

— Что ты делаешь, несчастный? Сейчас же прячься!

Подпрыгивая над ровчаком в виде пугала, Николай ответил:

— Вижу его, вижу! Бей в дерево. Бронебойной!...

И вдруг сел на дно ровчака.

Выстрел Саши прозвучал быстро. Вражеский снайпер выпал из-за дерева и не шевелился.

— Хорош! — сказал довольно Саша. — Ай да Чайка! Спасибо, Николай, за ориентир. Коля! Коля!

Майор лежал с простреленным боком и никак не мог поверить, что его ранило. Он хотел проснуться от этого сна, чтобы все было, как прежде. Но куда! Над ним наклонился Саша и пере

вязывал, приговаривая при каждом своем движении:

- Балда, дурень полосатый. Черти тебя толкали наверх. Гаврик! Шкатулка с музыкой. Вот возьму и брошу тут, чтоб ты знал!

- Я не думал, что он успеет меня подстрелить, — через силу прошептал Николай, — давай прямо в дерево бронебойной, я видел...

Уже. — просто ответил Саша. — идол лыковый. В недобрый час тебя понесло наверх.

- Лезь дальше один, у меня ноги не свои, — попросил Николай.

- На, держи винтовку, я с тобой еще не так поговорю! — рявкнул Саша.

Он подлез под майора и потащил его на себе, держа курс на батарею. Ползти было тяжело. Слабые капитанские мускулы едва выдерживали такое бремя.

- Брось меня, не тащи, — умолял майор, временами приходя в себя.

- Молчи, халтурщик, — отвечал капитан и двигался дальше, — вот проберемся сквозь тот кустарник, а там уже и наша батарея, будь она неладна!

Но за кустарником их ожидал сюрприз. Десятка три немецких автоматчиков появились откуда-то слева и шли вперед, крадучись, словно готовясь захватить кого-то врасплох. Саша затаил дыхание. Николай не шевелился. Автоматчики были метрах в пятидесяти.

- Гаврики, — прошептал Саша, — на батарею нацелились

Бей! — громко сказал Николай и сполз с сашиней спины на землю.

Порядок, — ответил Саша, — на, поддержи гранату.

Плюю на смерть! — прошептал Николай.

— Точно, — поддержал Саша и выстрелил в немца, который шел сбоку.

Тот упал. Автоматчики замесались. Саша выстрелил еще два раза. Немцы начали поливать из автоматов. Сашина винтовка выскользнула из руки.

— Вот не везет, — сказал он сквозь зубы, — некому будет и легенду состряпать.

Винтовку взял Николай. Немцы двигались полукругом. Автоматы строчили, поднимая сухую пыль, срезая траву.

— Пора гранату, — простонал Саша, — не забудь вставить запал...

— Не морочь головы!

Николай размахнулся. Граната, кувыркаясь в воздухе, полетела вперед. Немцы попадали на землю. Взрыв.

— Может, услышат на батарее. — сказал Саша, — давай вторую, Коля...

— Рано вторую.

— Патроны все?

— Все.

— Возьми мой маузер.

Немцы лезли. Чем бы их хоть немного задержать? Николай отцепил сашину флягу и швырнул. Немцы прижались к земле, ожидая взрыва. Саша усмехнулся. Немцы увидели фляжку, повскакивали на ноги: — Рус, сдавайся! Николай бросил в них тогда вторую гранату. Автоматчики попадали. Снова на «Чайку» посыпались пули. «Чайка» лежала под огнем немецких автоматчиков и жалела, что не найдет свидетеля и что пропадет хороший материал для газеты...

Вот почему чарующей музыкой прозвучали чьи-то выстрелы, несными ангелами показались артиллеристы с батареи, волшебной сказкой было все дальнейшее, когда подошли свои...

— Они лежали, — сказал Саша через силу, — и тихий ветерок оведал их усталые души... Как дальше, Коля?

— И лучи ласкового солнца... Так ты хотел сказать?..

7 апреля 1943 года



ПЕТРУСЬ И ГАПОЧКА

Петрусь как старший вел Гапочку за руку. Маленькие — они совсем затерялись в степи.

— Вот дурная девка, никак ее не научишь! Говоришь, говоришь, а она, как глухая. Ну, скажи еще раз: сколько тебе лет?

— Четыре, — отвечала тоненьким голоском Гапочка.

— Как тебя звать?

— Гапочка.

— Где твои папа и мама?

— Там, — показала Гапочка и на мгновение остановилась на дороге.

Из глаз ее вдруг покатались крупные светлые слезы.

— А кому я сказал не плакать? Ты думаешь, мне не жалко мамы? А я не плачу. Думаешь, если мне семь лет, то и плакать не хочется?

— Я не плачу, — сказала Гапочка и с обожанием поглядела на брата, — ты только, Петрусь, не сердись...

Петрусь степенно погладил ее белорусую голову и, что-то еще припоминая, остановился.

— Ну, вот я немец, — сказал Петрусь и вдруг смешно сморщил лицо, — я немец и кричу на тебя. Вот так встречаю тебя на дороге и кричу: «Хальт!

«Пук-пук!» — А потом топая ногами, чтобы ты не пугалась и все мне рассказала, расскажешь?

— Не расскажу, — ответила Гапочка.

— Что папа наш в Красной Армии, скажешь?

— Не скажу.

— А что маму немцы повесили, скажешь?

— Тоже не скажу.

— А куда мы идем?

— К партизанам, Петрусь, да?

— Вот сдурела девка! Так немцу и скажешь?

— Я забыла...

— А ты не забывай. Мы идем к тетке в другое село. Так немцу и говори. А он, дурной, и пойдет себе прочь. Ты на него смотри и не бойся. Он кричит, а ты не бойся. Ты маленькая украинка, а он глухой немец... Пусть кричит. Все равно папа его застрелит. Придет этой дорогой и застрелит. Видишь, какая дорога хорошая. До лесу еще далеко-далеко. Солнышко уж не пест, только греет. Ты любишь степь?

— Люблю, — сказала Гапочка и засмеялась, — я люблю кавуны.

— Ишь, какая хитрая, кавунов ей захотелось. А баштан у тебя есть? Вот пускай у дороги баштан вдруг вырастет, мы и попросим кусочек кавуна.

И дыньки, — отозвалась Гапочка.

— Ну ладно, пусть и дыньки. Только, смотри у меня, не бойся немца. Стой себе и плачь, а я сам с ним поговорю.

Петрусь заглянул солидно в торбу, висевшую у него через плечо, вытащил оттуда черный сухарик и протянул Гапочке.

На, ешь. Дорога до партизан не близкая.

Гапочка взяла сухарик и стала грызть этот еще мамин гостинец. Желтая рожь по обеим сторонам дороги волновалась на ветру и кланялась, заде-

вая головы детей, чистое небо, напоенное солнцем, будто затканное синими и серебряными нитками, переливалось, пылало над ними, и не было ему конца-краю. В бесконечном просторе степи затерялись двое ребятишек, босые ножки их торопко пылят по нагретой дороге. У них есть цель, они идут.

— А вон и немцы, — сказал Петрусь, — спрячемся в жито, чтобы они нас не заметили.

— Я боюсь, — призналась Гапочка.

— Кому говорю?! Немец глупый...

— Глупый, — сказала Гапочка и пошла за Петрусем прямо в густую чащу жита.

Высоко над головами раскачивались колосья; хохлатый жаворонок бежал перед детьми по земле, задевая крыльями траву. Серенькая ящерка нырнула под кочку и пропала. Голубенькая стрекоза покачивалась на соломинке, расправляя прозрачные крылышки. Дети шли, как в лесу.

— Хватит, — сказал Петрусь, — много жита потопчем.

— А птичка куда побежала? — спросила Гапочка и показала вслед пальчиком.

— Это жаворонок, — ответил Петрусь. — Видела, какой у него хохолок? Он нас от своего гнездышка отводит. Хитрая птичка.

Гапочка села на землю и принялась строить хатку из травы. Петрусь прислушивался, но ему мешало шуршанье колосьев. Послышался громкий лай, и на детей ощерилась слюнявая морда собаки. Гапочка испугалась и заплакала. Петрусь заслонил ее от собачьей морды.

— Фью, фью, на, — тихонько засвистал Петрусь, чтоб Гапочка не подумала, что и он испугался. — Вот я дам ей сухарика. На, сухарика, ешь...

Собака лаяла. Мордастый немец шел к собаке, раздвигая автоматом густое жито.

— Дети? — рассердился немец. — Вольф, возьми!

Но собака неожиданно лизнула Гапочку прямо в нос, за что получила здоровый пинок сапогом. Немец больно толкнул Петруся автоматом в спину. Петрусь повел Гапочку на дорогу.

На дороге стояла диковинно расписанная машина, а в ней полно немцев. Гапочке не хотелось плакать, но она вспомнила приказ Петруся и громко заплакала. Немцы хохотали, показывая пальцами на детей и на того, кто их вывел. Петрусь стоял, как его мать, когда немцы ее поставили виселицей: он смотрел прямо в глаза чужакам, старался не мигать и не бояться. Но немцы так хохотали, а этот один так толкал Петруся, что хоть кто испугался бы.

— Теперь они в нас будут стрелять, — потишеньку сказал Петрусь Гапочке — только ты не бойся, Гапочка.

Мордастый немец поставил детей на холмик возле межи, приказал стоять ровно, а сам вскочил в машину, которая уже двинулась.

— Гапочка, — крикнул Петрусь сквозь шум машины, — как я дерну тебя за руку, сразу падай наземь!

Машина двинулась, а мордастый нацелился из автомата в Петруся и Гапочку, но Петрусь дернул Гапочку за руку, и они, одновременно с выстрелами, ушли в ров.

Машина уехала далеко.

Петрусь поднял голову:

— Сама видишь, какой немец дурной!

Гапочка раскрыла плотно зажмуренные глаза села:

— Петрусь, я хочу еще сухарика.

Снова они шли по дороге, а лес уходил от них. Не зная, должно быть, как у Петруся и Гапочки

Болят ноги. Над головами летела та самая птичка, будто провожая их. Желтый-прежелтый мотылек будто дразнился: сядет на донник и качается, а подойдешь к нему — летит себе дальше. На самой дорогой пролетел аист с гадюкой в клюве.

Смотри, смотри, Гапочка, как гадюка вьется!

Но Гапочка совсем утомилась. Глаза у нее слипались, она то и дело спотыкалась на ровной дороге, а один раз даже упала. Петрусь пел, рассказывал ей сказки, говорил, что лес близко, а сам не чуял ни рук, ни ног.

¹ У дороги вырос курень¹.

— Баштан, Гапочка, гляди-ка, баштан! — закричал Петрусь. — Кавуна попросим, Гапочка!

Гапочка немного оживилась. Петрусь побежал, все время окликая Гапочку, чтоб она не отставала. Но к куреню подошли степенно, не торопясь.

Петрус снял брыль² и крикнул, как его учила мать:

— Есть кто живой?

Из куреня вылез дед. Он оперся на руки и насунил косматые брови на детей. Такого старого деда Петрусь еще никогда не видел: в его селе все деды были моложе.

— Здравствуйте, дедушка, — вежливо сказал Петрусь.

— И что нелегкая носит? — закричал дед и даже закашлялся. — Вот как возьму широтину!..

Гапочке дед понравился, и она подошла поближе.

— Дедусь, — сказала Гапочка. — а глаза у вас совсем-совсем не смотрят? Бедный вы, дедусь, бедный!

Дед протянул руки и стал ощупывать Гапочку. Потом прижал ее к груди:

¹ Курень — шалаш.

² Брыль — широкополая соломенная шляпа.

— Моя дetyнька!

Гапочка вдруг почувствовала, как ей на руки часто-часто стали падать холодные дедовы слезы. Она вспомнила мать, ей сделалось сладко и уютно, и она заснула тут же на дедовых руках.

Дед рассказал Петрусью:

— Выкололи, дитятко мое. Допрашивали нас на собрании, не видел ли кто партизанов. А я и говорю: «Да пускай у того очи повылазят, кто увидит!» Думал, застрелят. Нет, не застрелили. Только глаза выкололи...

— А тут партизаны ходят? — спросил Петрусь.

— Кто ж его знает, какие они есть? Настоящие или только выведывают... А я попросил вывезти меня в степь — вот тут и плачу да поджидую...

— А мы к партизанам, дедушка, — сказал Петрусь, — я и Гапочка.

— Старшие тебя, дитятко, пустили?

— Долго рассказывать, да коротко слушать, — важно ответил Петрусь.

— Ну, так и я с вами, — сказал дед.

— А вы хоть одного немца убили? — спросил Петрусь. — Партизаны так не примут. Я за маму спалил нашу клуню вместе с немцами, — я не так себе иду! А теперь дайте нам, дедуся, кусочек кавуна, мы и пойдем, а то уже поздно.

Они пошли дальше втроем. Петрусь, Гапочка и слепой дед. Петрусь вел деда за руку, а дед нес Гапочку. Далекий партизанский лес быстро-быстро приближался, будго и сам он теперь шел навстречу.

6 мая 1943 года



СЫН ДИНАСТИИ

Драма в трех действиях, десяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Максим.

Свирид Гаврилович — мастер.

Надюша — его дочь.

Хома Мартынович — мастер.

Дуся — его приемыш.

Павло Павлович — конторщик.

Мотря Терентьевна — его жена

Коля — их сын.

Леонид — брат Мотри Терентьевны.

Яша

Сеня

Котька

Григор

} молодые рабочие.

Товарищ П.

Панько

Немецкий офицер.

Немцы.

Место действия — Донбасс 1941 года

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Картина 1

Купе плацкартного вагона. Ночь. Максим спит на верхней полке, Свирид Гаврилович — на нижней. Поезд идет. Проходит кондуктор с фонариком, молча будит одного и другого.

Максим (садится). Спасибо, что разбудили. (Никак не может сбросить с себя сон.) Брр!

Кондуктор. Поезд будет стоять три минуты.

Максим (зевает). Мне хватит. За три минуты можно чорта в вершу загнать, не то что с поезда слезть. (Потягивается.)

Свирид Гаврилович (поднимается). Кондуктор, скоро уже Крамово? Вот народ пошел: затылком слушают.

Максим (спускает ноги). Бесспорно и непременно сейчас Крамово. (Причесывается.)

Свирид Гаврилович. Может, вы не лезли бы мне на голову?

Максим. Простите. С детства меня, папаша, укоряют, что я лезу всем на головы.

Свирид Гаврилович. Встал ногами на голову да еще и роднится!

Максим. Ну и характерец у вас! Как же мне слезть, если вы не пускаете?

Свирид Гаврилович. Вас не пустишь. Гакой, что и потолок провалит. Молодежь пошла... Погоди, куда встаешь!..

Максим (хочет слезать). Как куда? На этот укутанный ящик, а там и на пол...

Свирид Гаврилович. Душегуб! Там живое существо! Скажите на милость!..

Максим. В таком случае не буду становиться. Что у вас там — кролики, папаша?

Свирид Гаврилович. Не ваше дело, родственничек.

Максим. У меня был один знакомый. Он ни за что не позволял становиться на клетку с кенарем...

Свирид Гаврилович. Кенар! Много вы видели. Тоже мне птица — кенар... Для попов. Вольного воздуха не нюхал, плодится в клетке, утречком не пил росы с листочка, в небе не купался, выводя песню, — стрекочет, скрипит, как немазаное колесо...

Максим. Ого, папаша, да вы поэт! (Соскакивает с полки, приглядывается.) Вот неожиданность. Гляди, как встретились, Свирид Гаврилович! Мне на этом свете везет. Знаю теперь, с чем едете: верно, лауреат птичьего царства? Соловей-разбойник, а? Здравствуйте. (Протягивает руку.)

Свирид Гаврилович (сердито). Сначала

на голову встает, а потом ручку протягивает. (*Несхотно подает руку.*) А кто ж вы такой будете?

Максим. Так себе, донбассовский человек. Неужели так-таки ни на кого не похож?

Свирид Гаврилович. А пока я вас узнавать стану, чемодан утянете? Чего вы ко мне прицепились?

Максим. Характер такой, Свирид Гаврилович. Я повсюду и всех зацепляю. Не могу так пройти и не зацепить. Хоть пальцем, хоть пушилкой, а зацеплю. Такой — в отца пошел.

Свирид Гаврилович. Не имел случая встречаться с вашим батюшкой. Вот в душу летит...

Максим (*спокойно*). А может, у вас, Свирид Гаврилович, так сказать, товар, а я на тот товар покупатель. Вы видали такого покупателя? Поглядите, расспросите, поговорим, смотришь, и породнимся..

Свирид Гаврилович (*кричит*). Что?! Вы этак сватаетесь к моей Надюше? Прямо с улицы да в зятя? И не думайте! Лучше я ее в домну, в чугунок толкну. (*Спокойнее.*) Выкиньте из головы, толку не будет...

Максим (*задумчиво*). С чего бы это так? Настоящих птичьих королей по пальцам можно перебрать... Люди увлекаются патефонами, радиоточками. А где встретишь живую, веселую, талантливую птичку? В музее, в нафталине? Мой отец был король. Не верите? Истинный птичий король. И птицы его узнавали. Прыгают перед ним в клетках, как дети. Резвятся, купаются, порхают, перекликаются. Красота! А часы на стене — тик-так, тик-так. Заведут концерт — прямо райский хор...

Свирид Гаврилович (*недоверчиво и с любопытством*). Сверчки какие-нибудь?

Максим. Возьмем по порядку. Малиновочка молоденькая. На голове черная шапочка. Этакая львовская модница — шапочка черненькая. Начинает тихо, нежно, чистое серебро. А потом — как флейта: громко, звонко. Да еще и соловьиное колечко в песне заведет. Это вам — сверчок? (*Загибает палец.*)

Свирид Гаврилович (*смягчился*). Ну, раз.

Максим. А варакушка-синяя грудка, рыженький галстук — сверчок? (*Загибает палец.*)

Свирид Гаврилович. Ну, пусть будет два.

Максим. Еще малюсенькая, крохотная, нежная пеночка. Пинь-пинь-пинь! Существо пренежное. А поет! Словно серебряную ниточку ведет прямо к вашему сердцу. Ну кто может слушать пеночку без радостных слез?

Свирид Гаврилович. Знает, на какой крючок брать! (*Смеется.*) А Надюша как же, согласна? Давно вас знает? Вот молодежь пошла — от родного отца прячутся. Ну скажите, не стыдно, а?

Максим. А чего тут стыдиться, Свирид Гаврилович?

Свирид Гаврилович. К дочке сватается, а я его еще и в глаза не видел...

Максим (*задумчиво*). Сам Надюшу много лет не видал.

Свирид Гаврилович. Ой, брешете, паренек. В глаза врет и глазом не моргнет. К кому же вы тогда сватаетесь, а?

Максим. Ни к кому. Так, изо рта вылетело. Может, посватаюсь к какой-нибудь из ваших птичек.

Свирид Гаврилович (*снова сердито*). Что вы мне голову морочите? Я птицами не тор-

гую. И вообще я мог бы еще поспать, если бы не этот проклятый кондуктор — разбудил за час до дома!

Максим Птицами не торгуете, а дочку готовы за любого спихнуть. Что она вам, хату просит дела?

Свирид Гаврилович. Молодой человек... Привяжите язык...

Максим. Или она хлеб даром ест? Или успела уже опротиветь? Или такая никудышная, что никто и не взглянет?

Свирид Гаврилович. Отказываюсь с вами разговаривать! Не приставайте ко мне! Хоть бы поскорее Крамово...

Максим. Я просто обиделся за несчастную девушку, которую тиран-отец хочет выпихнуть из дома...

Свирид Гаврилович. Выпихнуть? Слушайте... Я сейчас же перейду в другое купе... Надо уважать седину, молодой человек... Да! Довольно... Не перебивайте! Надюша моя давно обручена. С детства обручена. И ее нареченный — достойный человек, сын рабочей династии, хороший инженер, не то, что некоторые покупатели птиц... Да! Потрудитесь не перебивать. Имейте в виду, что мы, старые доменщики, не пускаем дочерей в другую веру. Еще детьми их обручили мою Надюшу и того Максюшку... Максюшка — молодец... Сын лучшего друга, пусть легко ему на том свете икнется, — старому казаку-доменщику! Боже мой, как годы бегут! Не зря поется: «Ой, вернитесь годы мои, загляните хоть в гости...» Хватит. Молчу. Прошу ко мне не обращаться. Да.

Максим (после паузы). А едет вы, наверное, от Хомы Мартыновича, правда?

Свирид Гаврилович. Не разговаривайте со мной! (Не выдержал.) Откуда вы знаете?

Максим (серьезно). По радио передавали. Сейчас же после последних известий. «Внимание, внимание. В субботу 21 июня 1941 года Свирид Гаврилович поехал в гости к Хоме Мартыновичу. Старые друзья выпили по рюмочке, попели украинские песни и послушали знаменитого соловья...»

Свирид Гаврилович (персбивает). Постойте! А ну, не двигайтесь. Голову вот так. Чутьточку сюда. (Долго всматривается.) Максюшка, сучий сын!.. (Кинулся обнимать, целуются накрест.) Ну как это я тебя сразу не узнал? У тебя же характер отцовский. Вылитый казак Иван, чтоб тебе пусто было! Ну ну! К нам?

Максим. К вам.

Свирид Гаврилович. Вот Надюше будет сюрприз. Только предупреждаю, пальца в рот не клади. Откусит. И сказала, что ни за что за тебя не пойдет... Да. (Обнимает снова.) Ах ты, чортов жук! Почему не признавался?

Максим. А как здоровье Хома Мартыновича?

Свирид Гаврилович. Живет. Один, как перст. У меня хоть Надюша есть. А он теперь один. Вот везу его соловья к себе на курорт. Хома Мартынович двигается на один курорт, а его соловей — на другой, ко мне. Ты слышишь: впервые в жизни на семидесятом году одурел старый Хома — на курорт едет! Не на кого соловья оставить. Его приемыш — Дуся — у нас на вокзале в буфете работает.

Максим. На советскую власть жалоб нет?

Свирид Гаврилович. А ты как думаешь! Хому — на курорт, Свирид соловья везет, чтобы он, не дай бог, не заскучал без компании. Максюшка в гости едет, домны юшку варят, солнце светит, люди веселые — разве это порядок! Раз-

баловались! Как послушаешь радио, что за границей творится — не дай тебе бог! А у нас что?

Максим. Ничего, Свирид Гаврилович. Надо будет, все припомните. Да как возьмете тогда что-нибудь этакое железное в руки — ого-го, еще как!

Свирид Гаврилович. Нет, я не годен. Не гожусь никуда. Где уж мне железное в руки! Это не то, что бывало. Я и винтовку-то не подниму. И бок у меня простужен, и глаза к чорту годятся. Да, Максюшка! Укатали сивку крутые горки...

Максим. А возле домны-то катаетесь?

Свирид Гаврилович. А что ж там хитрого? Навалил земли да мусору; рудой присыпал — сиди и дуй. Потом затычку ототкнул — бежит юшка чугунная. Большого ума не требуется. В печенках сидит эта чортова стряпня! Да.

Максим (смеется). Ничего. На пенсию переведем... Мы с Надюшей вас прокормим.

Свирид Гаврилович. Ты что это, Максюшка! Я тебе задам на пенсию!..

Максим. Я в домне еще мало понимаю... Может, и вправду лучше на пенсию?

Свирид Гаврилович. Вот видишь. А отец твой Иван и в аду по доменному делу. Иль ты думаешь, он не в аду?

Максим. Слышал я, что в раю не было доменного цеха.

Свирид Гаврилович (смеется). Ай-ай-ай, да ты и в бога не веруешь! Должно быть, интеллигент? Как моя Надюша? Да?

Максим. Ага — интеллигент.

Свирид Гаврилович. Вот видишь. Какой же из тебя к чорту доменщик! Ты хоть возле домны-то стоял? Только не бреш, говори правду...

Максим. Стоял.

Свирид Гаврилович. Нет, не советую на домну, Максюшка. Не люблю домну. Грязно, мастерства никакого. Лучше уж в контору на машинке печатать. Ей-богу... Сам решил переити на машинку. А?.. Как думаешь?

Максим. Что ж, из вас выйдет машинистка, Свирид Гаврилович. А мне домна еще не надоела.

Свирид Гаврилович. Много ты понимаешь. Что такое домна, а ну, скажи?

Максим. Домна, уважаемый Свирид Гаврилович, — искусство!

Свирид Гаврилович. Вот и врешь. Домна — это самовар из кирпича, повыше церкви. Заместо воды — чугуны...

Максим. Может, не так, Свирид Гаврилович?

Свирид Гаврилович. Что ты знаешь? Многому ли в этих институтах научишься! Практика, Максюшка, практика... Да, голубок, одна книжка не научит.

Максим. Я немного и работал.

Свирид Гаврилович. Где работал? На шихтовом дворе? Метлой?

Максим. Что же в этом плохого, что метлой? Я работой не брезгую. Мне в одном месте пришлось быть даже начальником доменного цеха.

Свирид Гаврилович (так и подскочил). Цеха?! Доменного цеха? Такой молокосос! Да!.. Ну и брешет будущий зятек! Максюшка, а?.. Врешь?

Максим (серьезно). Нет, правду говорю.

Свирид Гаврилович (с увлечением). Максюшка! Вот так интеллигент! Да если бы жив был Иван... Боже мой, и это тот самый парнишка которого от домны отогнать было нельзя. А ты говоришь — нет ли жалоб на советскую власть! А ну тебя, Максим, — ты мне сердце растревол-

жил... Шутка сказать — уже начальник доменного цеха!..

Максим. Я слышал, что у вас на заводе директор новый.

Свирид Гаврилович. Новый? Старый-престарый да еще исполняющий обязанности. Три квартала в году хворает. Целая коллекция болезней, сроду я о таких не слыхивал... Временный он у нас.

Максим. И как — ничего себе человек?

Свирид Гаврилович. Что тут говорить! Разве директор такой должен быть? Наоборот! Строгий. Веселый. Справедливый. В галстук. Сказал слово — отрубил. Прошел по заводу — муху слышно, молоко киснет. Вот как, Максим. (*Выглянул в окно.*) О, уже домна засветилась. Выпускают юшку. Молодцы мои хлопцы, не задержали. Скоро мы и дома. Надюша будет встречать. Правда, красивая картина, вон, взгляни, Максим? Что может быть красивее вот такой домны, — прямо сердце радуется...

Максим (*выглядывает*). Не доходит до меня, Свирид Гаврилович, какой должен быть директор? Чтобы его все боялись или чтоб любили?

Свирид Гаврилович. Ну это, брат, целая наука. Да. Ты не скоро поймешь. Разве ко всем рабочим подойдешь с одной меркой? Бессовестные люди — пусть директора боятся, а совестливые — чтоб любили. Надо всех знать, от сторожа до главного инженера. Как живут, что едят, где жмет, что затирает...

Максим. Небольшой опыт у меня есть.

Свирид Гаврилович. Куда твой опыт годится! Начальник цеха — это еще не директор завода. Тут надо такую тонкость подпустить, чтобы сразу людей видеть. Чтобы от тебя ничего не укрылось. За путным директором весь завод пой-

дет, как войско за генералом. Слава богу, есть о чем порассказать, штук сорок директоров пережил! (Посмотрел в окно, усмехнулся про себя.) Ну вот, первое дело, как новый директор появляется на заводе, а?

Максим. Наверное, поездом, потом машиной.

Свирид Гаврилович. Угадал, поездом. Дней за пять впереди него летит длиннющая телеграмма — еду, встречайте, международный вагон... А того и не знает, сучий кот, что с самого начала дал маху! Да!

Максим. Как маху дал? Что телеграмму послал?

Свирид Гаврилович. Что в международном вагоне едет. Понял? Ты возьми да в жестком плацкартном прикати. Да сойди с поезда потихоньку. Да переночуй, где придется, да зайди на завод не директором, а хоть бы чернорабочим! Да, да — чернорабочим! И послушай, что люди говорят, чем болеют, на кого жалуются.

Поезд останавливается, слышно, как на перроне из всей силы грянул духовой оркестр.

Свирид Гаврилович. Вот так заговорились! Давай скорее выходить. Ого, кого-то встречают... (Выглянул в окно.) Наш заводской оркестр... Павло Павлович из конторы, Надюша. Может, артисты приехали?

Максим. Свирид Гаврилович! Как бы мне отсюда потихоньку выйти! Чтобы никто не увидел...

Свирид Гаврилович. Что ж так? Разве кто встречает?

Максим. Видать, встречают. Я дал телеграмму, что еду.

Свирид Гаврилович. Кому дал телеграмму?

Максим. На завод. Ведь меня назначили директором вашего завода.

Свирид Гаврилович (даже сел). Максюшка!.. Максим!.. Максим Иванович!.. В жестком плацкартном! Ах ты, чортов жук!.. Дай я тебя поцелую!..

Занавес

Картина 2

Буфет на станции. К столику подходят и садятся Свирид Гаврилович и Максим. Слышно, как на перроне еще играет духовой оркестр.

Свирид Гаврилович (прислушивается). Ты смотри, Максим Иванович, как тебя здорово встречают. Все одно, как заслуженного артиста республики. Оркестр. Да! Утираем нос столицам...

Максим. Может, это совсем не меня.

Подходит Дуся, буфетчица.

Дуся. С приездом, Свирид Гаврилович. Подать горячего чаю?

Свирид Гаврилович. Здравствуй, Дуся. Как видишь, недолго ездил. Поклон тебе от Хомя Мартыновича. Знакомьтесь, это наш новый...

Максим (перебивает). Максим. (Протягивает руку.)

Дуся (здоровается). Я вам тоже подам горячего чаю.

Свирид Гаврилович. Ох, Дуся, если бы ты знала, как скучает по тебе Хомя Мартынович... Через это и на курорт едет...

Дуся. Пусть бы не запирал меня в клетке! Я — свободный и независимый человек! (Наклоняется к клетке, откидывает краешек материи.) Здравствуй, соловушка мой. Сонный-пресонный, глаза слипаются... Спит...

Свирид Гаврилович. Какие новости в нашей губернии нынче, Дуся?

Дуся. Вы не видали, что на перроне делается? Среди ночи собрали оркестр. Встречают нового директора. От конторы Павло Павлович вышел. Духовой оркестр вышел у меня двадцать семь бутылок ситро. (Идет к самовару.)

Входит Надюша.

Надюша. Здравствуй, папа. Ты с этим самым поездом приехал?

Свирид Гаврилович. Здравствуй, Надюша. А я сюрприз привез.

Надюша (перебивает). Этим же поездом должен был приехать наш новый директор. И, представь себе, — не приехал! Прислал телеграмму, указал номер поезда — и не приехал... Сразу видно — несерьезный человек!

Свирид Гаврилович (подмигивая Максиму). Я тоже скажу — несерьезный.

Надюша. Осталь, пожалуйста, шутки. Мне досадно, что это не кто-нибудь, а твой любимец Максюшка, о котором ты мне столько наговорил...

Свирид Гаврилович (перебивает). Максим Иванович, Надюша!

Надюша (подчеркнуто). Максюшка назначен к нам директором завода. Заранее могу сказать, легкомысленный, безответственный и несимпатичный... И выскочка... И не спорь со мной, пожалуйста. Я тебя уверяю, — совсем некультурный...

Максим. Позвольте мне вступить за Свирида Гавриловича.

Надюша. Мои папа настоящий романтик. Не видел этого молодца с детства и выдумывает про него сказки. Вот вы, культурный человек, скажите мне, как назвать того, кто присылает телеграмму и не приезжает? Он не пустой?

Максим. Я с вами согласен.

Свирид Гаврилович. Просто тебе хотелось поскорее увидеть своего нареченного... Да?

Надюша Папа! Я совсем не собираюсь выходить за кого попало, запомни это. И не будем возвращаться к этой теме.

Свирид Гаврилович (торжественно). Надюша, познакомься, пожалуйста, с моим призом. Перед тобой Максим Иванович, директор заюда.

Максим (протягивая руку). Максюшка. Прислал телеграмму и приехал.

Надюша (закрывает лицо руками). Ах, как некрасиво! Максим Иванович... Разве так можно?.. (Поспешно уходит.)

Свирид Гаврилович (вдогонку). Надюша! Надюша! погоди! Пошла... Теперь готовься! Свирид, получишь изрядную головомойку... Да!

Дуся (подает чай). Директора встречают на перроне с музыкой, а он тишком чай пьет...

Максим. Догоните ее, Свирид Гаврилович. Она рассердилась. Разве можно так вдруг?

Свирид Гаврилович (берет клетку). И чай в глотку не идет. Ты, Максим Иванович, прямо к нам? Переночуешь, мы тебя в столовой положим.

Дуся. Я слышала, что суженому нельзя спать под одной крышей с девушкой, к которой он сватается...

Максим. Правильно, Дуся, это мне еще бабушка говорила. Скорее идите, Свирид Гаврилович, обо мне не беспокойтесь, завтра встретимся...

Свирид Гаврилович. Да! Только ты, Максим Иванович, с утра прямо к нам... Прямо к нам, ладно? (Уходит.)

Дуся. Правда, товарищ директор, какая она симпатичная? И на инженера учится...

Максим. Да ну?

Дуся. А как же! На инженера, самого настоящего! Вот я тоже ушла от Хомя Мартыновича, — он мне неродной — я сирота, — ушла и все тут. Он зовет домой, а я хочу стать машинистом на паровозе? Вы думаете, я не попаду на паровоз? Я упорная, чего захочу — добьюсь.

Максим (пьет чай). Садитесь, Дуся, пейте чай.

Дуся. Спасибо, товарищ директор. Можно вас спросить? Вы вправду обручены с Надюшей или это шутка?

Максим. А что, — кто возражает?

Входит Павло Павлович, коренастый, с пышными усами, старомодная цепочка от часов висит через всю жилетку.

Павло Павлович. Ну, Дуся, я све отбыл! Если он не приехал, пусть пеняет на самого себя. Второй раз оркестра я уже не соберу. Молокосос! Весь международный вагон обошли. Что ты скажешь!

Дуся. Ничего не скажу.

Павло Павлович. Ну хорошо, не говори, — это тебя не касается. А что ты скажешь насчет того, что мой Колька зачастил сюда в буфет?

Дуся. Не знаю.

Павло Павлович. Скажи, долго еще Колька будет сюда ходить?

Дуся. Павло Павлович, я на работе, а вы приходите и оскорбляете меня.

Максим. Прошу вас, гражданин, спокойно пройти вон в те двери и затворить их за собой!..

Павло Павлович. Ух ты какой! Вы, с галстуком, кажись, не здешний? Имейте в виду, что на завод идти только через меня!

Максим. Разве вы в проходной будке сидите?

Павло Павлович. Ладно... Будьте здоровы. (Уходит.)

Дуся. Спасибо вам, товарищ директор. Разве я виновата, что парни ходят? Вдруг придут гуртом, все булочки раскупят и съедят. А бывает — пиво и сидро выпьют. Шампанского тут было десять бутылок — и те купили. Оборот торговли хороший, а простым пассажирам есть нечего. Ой, батюшки, сейчас будет рабочий поезд. А я тут заговорила... Вон-вон, слышите, гудит? Надо хоть самовар пошуровать...

Максим. Дуся, как мне пройти в гостиницу?

Дуся. В гостинице у нас местные живут. Приезжие ночуют в общежитии. Подождите, кто пойдет, я попрошу проводить...

Проходят несколько рабочих, женщин. Входит Хома Мартынович, постаревший, бледный

Дуся. Так и знала. Не успел Свирид Гаврилович от вас уехать, как вы — следом! А как же с курортом, Хома Мартынович?

Хома Мартынович (Максиму). Можно около вас?

Максим. Пожалуйста, садитесь.

Хома Мартынович (садится). Буфетчица, стакан чаю!

Дуся (наливает). Не могли дома напиться? (Ставит на стол.)

Хома Мартынович. Что вы даете мне холодный чай?

Дуся. Дома можете привередничать. Дома пьете какой дадут, а тут — холодный!

Хома Мартынович (Максиму). Молодой человек, мне семьдесят лет. Не снятся никакие сны. И вот приснилось. Я провожал Свирида Гавриловича на вокзал. Он пошел на перрон, а мне приснилось, будто Дуся вернулась домой, бе-

гает по комнате, а за ней летает соловей. Подумайте, какой неожиданный сон. Я проснулся, взял билет и — следом за Свиридом Гавриловичем.

Дуся. Вы доиграетесь, что пропадет путевка в санаторий!

Хома Мартынович. Мне снится, что я еду не в санаторий, а бог знает куда.

Дуся. Вы на сны сваливаете, лишь бы не ехать...

Хома Мартынович. По ночам летают самолеты, как журавли, целые тучи самолетов...

Максим. Хома Мартынович, я вас вполне понимаю. Дуся сказала мне, что она тоже по вас скучает.

Дуся. Когда?

Максим. Молчите, Дуся. Вам, Хома Мартынович, нужно идти, не задерживаясь, к Свириду Гавриловичу, пока там не улеглись спать. Я вас заверяю, что завтра Дусю уговорим, и все будет хорошо.

Хома Мартынович. Спасибо, молодой человек. Как ваше имя и по батюшке?

Максим. Я Максим, Иванов сын. Не узнаете?

Хома Мартынович. О дружбе мой, дай я тебя обниму... (Обнимает.) Я чувствую большую радость за себя и за Свирида Гавриловича.

Дуся. Максим Иванович назначен директором нашего завода...

Хома Мартынович. Так сразу и видно. Входит Коля с гитарой. Это молодой человек лет двадцати.

Коля. Дуся! Я запрещаю вам разговаривать с посторонними.

Дуся. Коля, вы, видать, выпили? Это на вас совсем не похоже.

Коля. Умоляю и прошу, выйдите на балкон, мы споем вам серенаду!

Д у с я. Честное слово, Коля, я не желаю слушать пьяных.

К о л я. Кто пьяный, Дуся? Вы знаете, что я пью только сидро. Я пьян от своей решимости: сегодня я окончательно и навсегда порвал с отцом И перебрался в общежитие. Я решительный. Я ему сказал: «Вы, Павло Павлович, не признаете Дусю, а я не признаю вас!» По случаю такой торжественной минуты мы пришли спеть вам серенаду... Здравствуйте, Хома Мартынович.

Х о м а М а р т ы н о в и ч. Здравствуйте. А какая у вас серенада, Коля?

М а к с и м. Время позднее для серенады, как будто...

К о л я. Кто вы такой, гражданин? И чего стали на якоре возле Дуси?

М а к с и м. У вас странные выражения. Вы — моряк, Коля?

К о л я. Не дрожите. Не люблю трусов.

Д у с я. Коля, я вас прошу! Это совсем не такой человек, чтобы с вами драться...

К о л я. Сейчас я ему дам по-нашему, а потом выведу к хлопцам на закуску!

М а к с и м. Вы так уверены, Коля, что мне не хотелось бы разочаровывать вас...

К о л я. Становись на это место! Становись, я тебе покажу!..

М а к с и м. И потом, мне не хотелось бы, чтобы вы, Коля, падали на глазах у Дуси.

К о л я. Не выкручивайся! Я решительный! (*Наступает.*)

Д у с я. Коля, я вас прошу... Не надо...

К о л я. Не успокоюсь, пока не дам ему по-нашему, по-донбассовски.

М а к с и м. Давайте, Коля, без дискуссий, выйдем. Прошу, показывайте дорогу.

К о л я. Дуся, вынесете потом ему ведро холодной воды. (Уходит.)

М а к с и м. Психическая атака на меня не действует, Коля. (Идет следом за Колей.)

Д у с я (вслед). Коля! Не надо его бить! Хома Мартынович, бегите за ними! Это скандал! Такого еще не было! Они будут бить нового директора завода!

З а н а в е с

К а р т и н а 3

Ночь. Садик возле станции. Максим, Коля, Сеня, Яша (паренек лет семнадцати).

К о л я (сидит на земле). Ребята... Вы видели? Чего же вы стоите?

С е н я. А что нам делать? Поздравляем тебя с крестинами.

К о л я. Бейте его! Он мне челюсти чуть не вернул.

Я ш а. Печальный факт и тому подобное. В один момент.

С е н я. По-честному. Классный бокс. Это — какой-то метеор! Ты заметил, Яша, как он дает левой?

Я ш а. Клянусь богом, Сеня, я в восторге! Надо организовать показ таких достижений! Это — чемпион!

М а к с и м (весело). Становитесь подряд, пока рука не остыла...

С е н я. Завтра воскресенье, а мы чтобы с битами мордами ходили? Спасибо...

М а к с и м. Как хотите. Без рукавиц и я не охотник.

К о л я. Товарищи называются! Только глядят, как их друга бьют! Никто и руки не подает.

Максим (берет Колю за руку и ставит на ноги). Вставайте, Коля. Еще люди увидят.

Коля. Он оскорблял Дусю.

Максим. Красивая девушка, добрая, симпатичная. И к вам хорошо относится, Коля. А вы хотите показать ей, что вы хулиган: задевает незнакомых людей, лезете драться. Думаете — Дусе это понравится? Не думаю.

Коля. Ребята, вы слышите, он меня оскорбляет!

Сеня. Это тебе только кажется.

Максим. Я против нас ничего не имею, Коля!

Яша (с увлечением). Ну и парень! Слушайте, незнакомый, как вас звать?

Максим. Максим.

Яша. Вы приезжий? Где ваши вещи? Давайте, я их понесу.

Сеня. Правильно. Возьмем его к себе.

Максим. Мне неприятно, что Коля дуется.

Сеня. Пошли! Предлагаем нашу дружбу.

Максим. А зачем вы сюда приходили? Серенаду петь?

Яша. Серенаду... Все ему известно.

Максим (берет у Сени гитару, передает Коле). Сначала споем серенаду. Для Дуси!

Коля. Ребята, да он свой в доску! (Хлопает по плечу Максима, берет аккорд.)

Максим. Только без особого крика.

Входит Хома Мартынович, подходит к юношам, долго мнется.

Хома Мартынович. Хлопцы! Дуся просила. Не надо его бить. Я вам советую как старый человек. Будет большой скандал. Это — новый директор завода...

Коля. Кто? Кто?

Максим. Начали, хлопцы! Только негромко. Коля! Раз, два...

Яша. Кто директор? Я перестаю слышать на оба уха! Клянусь богом!

Максим. Да это я — директор. Начали, Коля! Долго вас еще просить?

Коля (*растерянно запевает*):

Ночной зефир струит эфи-ир...

Яша и Сеня (*поют*):

Шумит, бежит Гвадалквивир...

Максим (*поет*).

Шумит, бежит Гвадалквивир!..

Здорово, Коля!

Коля (*поет*):

Вот взошла луна золотая.

Тише... чу, гитары звон...

Все (*поют*):

Вот испанка молодая

Оперлася на балкон

Дуся (*выбежала с ведром воды, замерла*).

Ой!

Юноши (*поют*):

Вот испанка молодая

Оперлася на балкон!

Занавес

Картина 4

Общежитие молодых рабочих. Утро. Пыль столбом. Работают Сеня, Григор, Котьяка. Яша входит, лущая семечки.

Яша (*удивленно*). Ну и ну... Браточки, чтобы подох.

Григор. Не сори, пожалуйста.

Яша. Ты раздражаешь Яшу и тому подобное!

Котьяка. Мне сдается, словно это не я...

Сеня. Не копайтесь, ребята, побыстрей шевели руками. Они вот-вот вернутся, а у нас что?

Яша. Очередной вопрос: что это вам в голо-

ву стукнуло? Какой гений чистой красоты? Раз ве у нас уборщицы нет? (Закуривает.)

Григор. Надоело в пыли жить.

Сеня. Ты, Яша, тоже ручками пошевели. Сберишь мастер. Уборщица сегодня выходная.

Яша. Клянусь богом! Я могу подождать уборщицу. С какой это стати слесарь моего разряда можно сказать, аристократ души, должен брать в руки грязную тряпку? Я перестану себя уважать и тому подобное.

Сеня. Не хочешь, Яша?

Яша. Точнее говоря, не чувствую желания.

Котька. В таком случае мы попросим вас освободить наше чистое помещение. Забирайте ваше барахло — и ко всем тринадцати богам!

Яша. Зачем же так много богов? Ты шутишь?

Сеня. Ребята, бедный Яша утомился. Пусть отдохнет. Отдохни, Яша. Ляг с сапогами на кровать и отдохни. Мы на тебя посмотрим, когда вернутся Дуся и Коля... А потом навестит Максим Иванович...

Яша (другим тоном). Ребята. Вопрос государственный. Это новый директор затеял? Серьезно?

Григор. Я удивляюсь, как ты можешь спрашивать?

Яша (бормочит напиросу о стену). Клянусь богом! Где мой веник? (Выхватывает веник у Григора.) Не могут сразу сказать! (Метет.) Воляныт, воляныт. — мервы не выдержат! (Метет.) Агитацию разводят, чтоб я подох! (Метет.) А куда наши пошли?

Сеня. Привезут из колонии разных цветов в вазонах.

Котька. Мне снится, что я — это не я...

Яша (оторопел от удивления). Цветы?! Разве мы девчата? Нехватает еще, чтобы наши окна за-

тянули занавесками! Стыд и срам! (Метет.) Это Максим Иванович придумал?

Григор. Эге. Посоветовал Коле. Собственно, не посоветовал, а сказал, что зайдет...

Яша. Полный порядок и тому подобное! Я удивляюсь, какого еще беса вы тут отвиливаете?! (Сердито метет.) Можно подумать, что я вас, как детей, буду уговаривать! Что вы — сами не понимаете?

Котька. Брось прикидываться, Яша!

Яша. Я для идеи работаю! (Метет.) Никого на свете не послушался бы, пусть бы сто директоров на голову село... А для Максима Ивановича — полная дисциплина. Что угодно. Добровольно — в обязательном порядке! Ну чем он только берет?

Сеня. Силой берет. Как глянет в глаза!

Яша. Материалист. Стань хоть на минуту идеалистом. (Метет.) Моя душа прилепилась к нему... Максим Иванович теперь — мой идеал. (Поднимает веник.) Клянусь, пойду за ним, куда ни прикажет!

Сеня (схватив Яшу, валит его на кровать). Отдай веник!

Яша. Пусти, грубиян! Григор, дай ему по шее! Григор!

Григор. А ты не дразнись!

Яша. Григор, сам пропадай, а товарища выручай!

Сеня. Сдаешься?

Яша. Сдаюсь! Пусти!.. (Высвобождается.)

Сеня (командует). Кровать поставить так, чтобы создать все условия для красивого сна. Берись, Яша! Григор, Котька!

Яша. Поэт! Чтоб я сдох, — поэт! (Отодвигает кровать из угла, там полно бутылок.) Боже мой, а посуда так и стоит! Да Максим Иванович подумает, что мы просто алкоголики...

Котька. Это мы у Дуси ситро покупали...

Григор. Укладывай все в наволочку. *(Помогает укладывать бутылки.)* Надо вынести, чтобы никто не заметил...

Сеня *(заглядывает под кровать)*. А у тебя, Яша, тоже бутылки... Бедная Дуся!

Яша. Не прицепляйся! *(Натыкается на свой же окурок.)* А это кто окурки о стену гасит? Голову оторву, если поймаю! Дикари! *(Берет графин.)* В графине мухи плавают с прошлого лета! Неужели никто воды не пил?

Григор. Мы пили только ситро у Дуси в буфете...

Яша *(берет на плечи наволочку с бутылками)*. Ну, господи благослови...

Григор. Одна нога здесь, другая нога там...

Яша. А ты вымой пол, пока я хожу...

Входят Коля, Дуся, несут вазоны с цветами.

Коля. Куда ты, Яша?

Яша. В библиотеку... *(Юноши приснули от смеха.)* Книжки и другие материалы. Котька, на... *(Силой перекладывает поклажу на плечи Котьки и выталкивает его.)* Иди, иди, а то библиотеку закроют...

Дуся. Я сама расставляю цветы. Это еще не все, мы привезли много. Яша, пойдите, тащите сюда остальные.

Яша. Полный порядок, Дуся. Пошли, Коля. *(Выходит с Колей.)*

Григор. Вот только вымою пол, и будет у нас все, как у людей. *(Мочит тряпку.)*

Дуся. Да не брызгайте, Григор! Поплывем все...

Яша *(вносит цветы)*. Чувствую себя, как Первого мая.

Коля *(вносит цветы)*. Куда ставить?

Дуся. Я сама. А окна вымыли? (Осматривает юкка.) Так не моют. Данте чистую трипку!

Яша. Клянусь богом. Не комната будет, а парк культуры. Я люблю жить на уровне требований современного искусства! Чгоб я сдох. А как я танцую, Дуся, — тур вальса среди нашей уютной комнаты...

Коля (угрожающе). Яша! Потом потанцуешь со мной!

Яша. Ты меня хочешь задушить в объятьях ревности?

Дуся (заметив отрывной календарь). Коля, кто это у вас календарем заведует?

Котька. Сам обпадает, Дуся.

Дуся. На календаре все еще восьмое марта!

Яша. Сто бутылок сидро тогда выпили. Дуся.

Дуся. Сегодня уже лето. (Отрывает листки.) Март. Апрель. Май пролетел, как один день. (Отрывает.)

Яша. Ох...

Дуся (огрызает). Перед нами уже месяц июнь... Какое сегодня, кажется, двадцать второе июня?

Котька. Гочно!

Яша. Я просто предлагаю вызвать кинохронику. «Дуся в общежитии молодых стахановцев». И тому подобное.

Григор. Отойдите в сторону. Не дадут пол подмести.

Яша. Какой пол? Дополнительно! Дуся, ангажирую вас на один вальс! Коля, вот тебе музыка... (Поет Коля гитару.) Выщипали из нее какую-нибудь мелодию!

Дуся. Коля, можно?..

Коля (играет). Пожалуйста. Если вам хочется с ним танцевать. А с тобой, Яша, мы потом поговорим...

Яша (танцует с Дусей). Кинохроника! Клянись богом.

Котька (схватив Григора). А-ну, Григор, по-нашему!

Григор. Пусти, а то вот тряпкой так и умою!

Котька (танцует перед Григором). Давай быстрее.

Входит Надюша, стоит недвижимо.

Коля (играет тише). Милости просим на танцы.

Надюша (тихо). Зачем стоят цветы? Все несут букеты. Везде цветы.

Дуся. Надюша! С цветами веселее жить! Я вас не узнаю!

Надюша. Разве вы не знаете, что война?.. Гитлер напал на нас. Товарищ Молотов выступал по радио...

Все замерли. Входит Максим.

Максим. Товарищи, все на митинг. Коротенький, на десять минут. Война. Кончилась наша мирная жизнь...

Надюша. Что же это будет?

Яша. Подумаешь, война! Мы их в самый Берлин загоним!

Григор. Интересно, будут ли добровольцев принимать? На финскую войну меня не взяли...

Котька. Я тоже хотел попробовать!

Яша. Зачем это мы все прибрали перед войной?

Дуся. Я первая записываюсь!

Коля. И я, Дуся.

Максим. Садитесь, товарищи. Присядьте на минуту. Помолчим. Начинается другая жизнь. Война переступила сегодня порог нашего дома...

Долгое молчание.

Занавес

Картина 5

Комната в квартире Свирида Гавриловича. Клетки с птицами. Свирид Гаврилович поливает цветы, возится, заглядывает в клетку, Хома Мартынович пьет чай.

Свирид Гаврилович. Война, Хома Мартынович. Держите хвост бубликом! Как хотите — война. Да.

Хома Мартынович. Вы лучше послушайте, как ваши птицы с моим соловушкой знакомятся. Черноголовка передразнивает, кокетничает... Мой соловей клювик чистит — компания для него, подумайте! Из одной признательности начнет петь... Наладится концерт...

Свирид Гаврилович. Была у нас финская война. Да разве такая! С немцами страшнее. Одно утешение — недолго. Теперешняя техника, говорят, ускорит войну. До осени кончим, как вы думаете?

Хома Мартынович. Чорт-те что вы говорите, Свирид Гаврилович. Где война, а где наш Донбасс? Чего она вам голову давит! А мне даже кстати — на курорт не надо ехать! Война!

Свирид Гаврилович. Детей жаль. Пожалуй, беспризорность будет после войны. Помните прошлую? Сколько детей осталось без отцов и матерей! Бот что я вам скажу: кто детей спасет, тот и выиграет войну...

Хома Мартынович. Я не собираюсь воевать.

Свирид Гаврилович. Какие из нас вояки, боже ты мой! А Максим вон на митинге в вояки нас записал. Значит, верит, да...

Хома Мартынович. Боюсь встретиться с моей Дусей. Она сегодня же на войну запишется!

Свирид Гаврилович. Пропал наш покой. Да нам что? Велико ли хозяйство? Одна домна. А у кого целое государство на плечах! Что наш Сталин сейчас делает? Да...

Хома Мартынович. Сталину, конечно, потяжелее, Свирид Гаврилович.

Свирид Гаврилович. Сердце у меня за него болит, — ну вот словно кто иглой колет... Дай ему бог здоровья, Иосифу Виссарионовичу, на многие лета. Столько вынести на своих плечах: и гражданскую войну, и строительство социализма, и философию. Знаете, Хома Мартынович, верю ему, как Ленину, как революции нашей, — победит Сталин!

Хома Мартынович. Он эту ночь, может, и не спал, Свирид Гаврилович...

Свирид Гаврилович. Эх! Ну, ясное дело, не спал. Теперь до вас доходит, что он еще за десять лет все предвидел? Социализм, конституция, индустрия, армия и флот, да? А врагов всех под машинку! Теперь вы видите что к чему, Хома Мартынович?

Хома Мартынович. Вижу, Свирид Гаврилович.

Свирид Гаврилович. А помните Царицын, нынешний Сталинград. И мы там были, не без того. *(Многозначительно кашляет, подкручивая ус.)* Раз мне пришлось стоять на посту у поезда главкома... Как же, стоял. Курить мне давал... Да.

Хома Мартынович. Кто, Свирид Гаврилович?

Свирид Гаврилович. Он. Только я не взял. Говорю спокойно: «Я на посту, товарищ Сталин...»

Хома Мартынович. Что это вам, Свирид

Гаврилович, все курить дают? И Ворошилов давал, и Буденный давал, и Орджоникидзе давал...

Свирид Гаврилович. Курящий народ, Хома Мартынович... Да.

Входит Павло Павлович.

Павло Павлович. Доброго здоровья. Двери все пооткрывали — заходи и выноси, что хочешь. Слышали — война? Только что митинг провели. Максим Иванович — красивый оратор... Какой только из него директор выйдет?

Свирид Гаврилович. Прошу — чаю. Надюша куда-то побежала, угощайтесь сами.

Хома Мартынович. Я вам налью, Павло Павлович.

Павло Павлович. Все равно не усладить моей горечи, Хома Мартынович. Вскружила голову моему хлопцу ваша Дуся. — ой, вскружила!

Свирид Гаврилович. А вы не вмешивались бы в их дела, — им жить, а не вам.

Хома Мартынович (наливает). Дуся у меня самостоятельная.

Павло Павлович (берет чай). Коля из родного дома ушел в общежитие. На улице со мной не здороваются.

Свирид Гаврилович. Прочитайте пьесу Горького «Мещане».

Павло Павлович. А что такое?

Свирид Гаврилович. Там сказано, что родители часто не понимают детей.

Павло Павлович. А-а. (Пьет чай.) Митинг устроили на заводе. Будто митингом можно немца побить. Это враг сильный. Видите, как он уже в первый день все города бомбит? Не боится, сукин сын... Чего вы хотите, народ культурный... Еще в ту войну разве их кто-нибудь бил? Нет. Они всех били...

Хома Мартынович. Чаю еще налить?

Павло Павлович. Не откажусь... Молодежь может надеяться. А нам, старикам, сразу видно, побьет немец... Всю Европу побил, и нас побьет...

Свирид Гаврилович. Неужели побьет, Павло Павлович? Как же так? Это же нам смерть?

Павло Павлович (пьет чай). Чего там смерть? Будем работать, как и работали.

Свирид Гаврилович (горячо). Вот и врете, Павло Павлович! Во-первых, лучше смерть, чем работа на Гитлера. Во-вторых, немец нас не побьет. В-третьих, идите вы из моего дома ко всем чертям, Павло Павлович! Да!

Павло Павлович (поставив блюдечко, засмеялся). Правильно, Свирид Гаврилович! Я тоже так ответил бы.

Хома Мартынович. Хитрый, как черт! Еще чаю?

Павло Павлович. Война!

Входит Коля, не замечает отца.

Коля. Здравствуйте. Простите, Дуся не была у вас?

Хома Мартынович. Садитесь, молодой человек. Дуси нет.

Павло Павлович. Дуси нет, зато я здесь, дорогой сынок. Хоть у чужих людей повидать, если от родного дома отрекся... Дурень!

Коля. Не ругайся, отец. Наши отношения только официальные...

Павло Павлович. Вот набыю при людях морду, тогда будешь знать! Молокосос!

Коля. Мое лицо уже вышло из-под вашей опеки, Павло Павлович.

Свирид Гаврилович. Вам войны мало,

Борogie товарищи? Пора забыть домашние свавы... Да.

Павло Павлович. Легко вам говорить — «забыть»!

Хома Мартынович. Садись, Коля. Выпей, дружок, чаю. Это травка миротворная... *(Наливает чаю.)*

Коля. Спасибо. Я чаю не хочу. Я лучше пойду.

Павло Павлович. Почему ты от меня отрёкся, сын? Я ли тебя не любил? Мать твоя с горя свету божьего не видит...

Коля. Мать тут ни при чем! Я не хочу жить в фальшивом доме.

Павло Павлович. У кого — фальшивый?!

Коля. У вас! Простите, Свирид Гаврилович, я пойду. *(Направляется к двери.)*

Павло Павлович. Коленька, при людях — такие слова?! Я — твой отец!

Коля. Разговаривать нам не о чем... *(Уходит.)*

Павло Павлович *(вслед)*. Нет, подожди! Где моя фуражка? *(Берет фуражку.)* Я должен договориться... Так оскандалить меня на людях!.. *(Уходит.)*

Свирид Гаврилович. Нестоящий человек.

Хома Мартынович. А сын у него — ничего, Свирид Гаврилович...

Свирид Гаврилович. Такого Павла Павловича — куда толкнешь, туда и повалится...

Входит Яша.

Яша. Здравствуйте. Я — к Хоме Мартыновичу. Можно?

Свирид Гаврилович. Секрет, Яша?

Яша. Какой там секрет, когда кругом война! Мы зашли с Дусей в военкомат, а там такая очередь! Клянусь богом, до вечера все не пройдут.

Этот чай свободный? (Садится к столу, пьет чай.) Так хочу пить, прямо сердце болит.

Хома Мартынович. Дуся записалась?

Яша. Погодите, Хома Мартынович, она до вчерера простояла бы, если бы не я! Нашел хлопцев, туда-сюда, немного потолкались, навели туману, а потом — хоп! — и в дверь к военкому! Вдвоем зашли...

Хома Мартынович. Я должен знать все Яша...

Яша. Полный порядок. (Пьет чай.) Начали мы его улаживать...

Свирид Гаврилович. В какую часть вас записали?

Яша. Меня? Ни в какую...

Хома Мартынович. А Дусю?

Яша. В ту же самую... Скандал был, клянусь богом! Дуся — в слезы. Очередь волнуется. Военком как отрубил: «Надо будет, тогда призовем...»

Хома Мартынович. Ну и правильно, я очень рад, Яша.

Яша. Можно еще чаю?

Хома Мартынович наливает, подает

Спасибо... У Дуси переживаний целая куча... Хочет наркомму писать. Встретила Колю и попросила меня зайти к вам. Максим Иванович и Надюша — в райкоме.

Свирид Гаврилович. Как там народ, Яша? Война?

Яша (пьет чай). Понимаете, я думал, когда ударит война, все пойдет вверх дном. Чай будет не сладкий, деревья осыплются, люди плакать будут. А тут идем мы с Дусей: природа цветет, висят афиши о футбольном матче. Девушка

ни с того, ни с сего — подарила милиционеру букет цветов...

Входят Максим и Надюша.

Максим. Мое почтение еще раз.

Свирид Гаврилович. А... Просим, просим. Так парой и ходят... Чего это ты, Надюша, напыжилась? Успели уже поссориться дорогой?

Надюша. Нет.

Максим (*улыбаясь*). У нас с Надюшей принципиальные расхождения.

Надюша (*не выдержала*). Если бы вы знали! Вам наш завод, может быть, не дорог, а мы здесь родились! Это наш дом! Наша жизнь!..

Максим. Надюша, я больше не буду...

Надюша. Ты только послушай, папа! Максим Иванович хочет сжечь, взорвать наш завод! Да, да, я не шучу!

Максим. Милая моя Надюша...

Надюша (*перебивая*). Я не милая, и я не ваша!

Максим. Если бы под Крамовым проходил фронт, я и минуты не колебался бы, уничтожил бы все! Что можно — вывезти, а все остальное — в воздух, в дым!

Свирид Гаврилович. Свое собственное добро! Социалистическое хозяйство?

Максим. Если наше добро перейдет в чужие руки, оно обернется против нас!

Хома Мартынович. Верно, Максим Иванович...

Максим. Мы видим, что получилось с чешскими, французскими, бельгийскими заводами, — они работают на врага!

Надюша. Все равно, вы меня не убедите! И никто не послушается, когда вы прикажете разрушить завод!

Максим. Я прикажу тогда, когда придет время...

Надюша (в негодовании). Я вас... Я вас...

Яша. Ну, я пошел. (Идет к двери и оттуда знаками манит Свирида Гавриловича и Хому Мартыновича.)

Свирид Гаврилович (понял). Постой, Яша, я тебе покажу наш садик. (Уходит, тянет за руку Хому Мартыновича.)

Надюша. Я напишу в наркомат, какого они нам директора прислали.

Максим. Надюша, моя дорогая девушка, вы видите, они нас оставили вдвоем!

Надюша. Им стыдно слушать легкомысленные решения! А спорить не хотят, потому что вы директор!

Максим. Надюша. Будем надеяться на лучшее. Хорошо? (Берет Надюшу за руку)

Несмело свистнул соловей. Раз, второй. Из-за двери тотчас же выглянул Свирид Гаврилович.

Надюша. Не трогайте мою руку!

Максим. Надюша. Я вам... Я вас... ну, чувствую.

Надюша (перебивает). Мне это безразлично! Громче запел соловей. Свирид Гаврилович не выдержал, вошел в комнату.

Свирид Гаврилович. Тише, тише! Он начинает концерт! Хома Мартынович, Яша!

Входят Хома Мартынович и Яша.

Птицы поют. Слышите, как ваш соловей выводит? Молодчина, ей-право... Красота! А пеночка—шельмина дочь! Так его, так!... Ах вы, милые мои создания!.. Для вас нет никакой войны!..

Тишина. Щебечут птицы. Соловей, как первая скрипка. Малиновка, как флейта-пикколо. Пеночка, как далекая арфа. Скворец в черном сюртучке подает голос, как фагот.

Начинается концерт

Занавес

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Картина 6

Квартира Свирида Гавриловича через три месяца. Ночь. Все, как и прежде. Только стекла закрашены сине-черной краской, чтобы свет не проходил из комнаты на улицу. Максим в старом рабочем костюме, в патном пиджаке. Надюша складывает вещи в небольшой чемодан.

Надюша. Ты сам отцу сказал, Максим? Я так волнуюсь...

Максим. Волноваться нечего, Надюша. Он ведь понимает, что это — последняя возможность не остаться с немцами. Может, утром гитлеровцы уже будут здесь...

Надюша. Как ты можешь спокойно об этом говорить?

Максим. Спокойствие не значит равнодушие. Хочу условиться с тобой о будущем. Это — последний эшелон. Ты с отцом и все наши поедете на восток. Связь буду держать с тобой через наркомат. А ты меня ищи через Политуправление фронта. Понятно? Завод минирован. Домну разрушим еще сегодня, а с остальным подождем. Мы еще посмотрим. Что ты на меня так глядишь?

Надюша. Ты не едешь с нами?

Максим. Я остаюсь. Тут будут кой-какие дела...

Надюша. И я останусь.

Максим. Ты понимаешь, что значит девушке остаться при немцах!

Надя. Все равно останусь... Я одна не поеду.

Максим. Ну, ладно, положи меня за фронтом, — хорошо? Только выполню тут свои поручения, сразу же тебя догоню, — согласна? Ну, смотри у меня, не плачь. Глаза-то как вдруг заблестели, — это не слезы ли, Надюша?

Надюша (не выдерживая, бросилась ему на шею). Максим... Я не могу ехать без тебя... Ты все только смеешься. Думай про меня, что хочешь — я не поеду.. Можешь не любить, только поволь остаться около тебя...

Максим (ласкается ей). Вишь, какую минуту мы выбрали для личных дел... Ходили-ходили один возле другого, ворчали, ругались. Притворялись равнодушными... думали: времени у нас много-премного — а вот и мало... Сам вижу, какие мы все влюбленные. Давно думал сказать, чтобы ты пригляделась ко мне... Может, будем вдвоем после войны. Родители хорошо надумали, что обручили нас...

Надюша. Я тебе не совсем безразлична, Максим?

Максим. Разве не бросается в глаза, как я тебя люблю?

Надюша. Значит, остаемся оба?

Максим. Нет, Надюша, тебе приходится ехать...

Надюша. Я не могу, Максим...

Максим (выглянул на часы). Где это задержался наш старик? Может, домой не зайдет, прямо на товарную станцию?

Надюша. Не попрощавшись с птицами? Ты его не знаешь!

Максим. Я донесу чемодан. Двигаемся к эшелону. Надо ночью выехать, чтобы меньше бомбили. Свирид Гаврилович, наверно, уже там...

Надюша. Не знаю Гаси лампу, а я отворю окно. (Открывает окно.)

Куда лампа погашена, яркий свет со двора озаряет комнату.

Максим (выглядывает). Осветительные ракеты бросают. Видимо, налет... Пошли скорей.

Вон, бьют зенитки... Где-то далеко. С музыкой по-исш...
по-исш...

Надюша. Максим, поцелуй меня на прощанье...

Максим. О, какой я еще...

Целуются, медленно уходят. Комната пуста, в окно слышен грохот зениток, далекие разрывы, видны лучи прожекторов. Немного спустя кто-то закрывает окно. Геминья. Зажглась свечка, засветилась лампа. Около лампы — Свирид Гаврилович

Свирид Гаврилович (устало садится на стул, опускает руки). Какие хитрые — хотят, чтобы я уехал! Это вот, значит, мой дом. Да. Мои цветы. Мои птички в клетках. Уснули, чубатые головки. Кто вам завтра воды поставит? Кто насыплет корму, когда вы попросите? Может, никто... (Задумался.) Что я себе нажпл за двадцать пять лет? Эги стулья? Диван? Фикусы? Барахло? (Слышен сильный взрыв, Свирид Гаврилович несколько снял шапку.) Ну, вот и все. Моя дозна взлетела в воздух... Не хотел я стоять и смотреть на нее... Прощай, словно сердца кусок оторвали...

Слышен рев самолета.

Летай, летай. Мы тебя не боимся... Кидай бомбы, гадни! Я нажпл за двадцать пять лет не это барахло... (Толкает стул ногой.) Не горшки бабьи (швыряет об пол), не фикусы! (Толкает ногой.) Да! Я приобрел собственное государство! Его ты не одолеешь! Бомб оно не боится. Вас зову, партизаны, — наступает наш последний бой. Не лежите в могилах, вставайте, друзья! И ты, Иван, мой любимый! (Снимает со стены портрет, целует его, кладет на стол.) И ты, мой Петр, друг незабвенный! (Снимает второй портрет, целует его, кладет на стол.) Наталка, жена моя верная,

подруга любимая, свет души моей, Наталка!.. (Снимает третий портрет, целует его, кладет на стол.) Встаньте, я зову вас на смертный бой с врагом!.. (Закрывает лицо руками.) Пора. К чорту все... (Снимает пиджак, рубашку, остается в майке.) Все к чорту! Где мой сундучок? (Достает из-под кровати деревянный ящичек, вынимает из него старую одежду, надевает старенький пиджак, кладет в боковой карман револьвер как инструмент.) Вишь, какой живот нагулял, — и штаны еле сходятся... Да... (Надел старомодный картуз.) Кажись все... (Вышел на минутку в кухню, принес бидончик с керосином и стал поливать комнату. Сел, достал трубку, набил ее, взял спички.) Все как полагается. Надюша, верно, уже уехала! (После паузы, громко.) Партизаны, по коням!

Григор (вбегает). Есть, партизаны по коням!

Свирид Гаврилович. Кто это еще тут?

Григор. Хочу в партизаны, Свирид Гаврилович!

Свирид Гаврилович. Ты откуда взялся, Григор?

Григор. Меня послали, чтобы вы не опоздали на поезд...

Свирид Гаврилович. Не становись на керосин.

Григор. Зачем вы все облили?.. (Взглянул на стол.) О, мой отец!

Свирид Гаврилович. Не твое дело! Идем...

Григор, пятясь, выходит. Свирид Гаврилович за ним.

Свирид Гаврилович (на пороге чиркает спичку, раскуривает трубку, стоит, держа спичку в руке, перед тем как бросить ее в керосин). Война!

Закавес

Картина 7

Квартира Павла Павловича. Горит лампа. Хозяева еще не ложились. Окна заложены подушками. Слышны далекие пулеметные очереди, порой от пушечного выстрела задребезжит посуда. Павло Павлович бегает по комнате. Мотря Терентьевна прибирает все, не переставая говорить.

Мотря Терентьевна. Люди они культурные, да поначалу нечего им в глаза совать... Скатерку мы спрячем, пусть лежит старая клеенка. Патефон — под кровать. Войдут, увидят, что мы не кто-нибудь, а простые люди...

Павло Павлович. Пойми ты, Мотря, скажут им!

Мотря Терентьевна. А кто скажет?! Ты же не был советским генералом. Так за что же тебе отвечать! Пусть орденосцы, партийные отвечают! (Суетится.) Одеяло с постели — прочь. Вот этой холстиной покроем — и ладно... Слава богу, знаю, как с людьми вести себя. Еще в революцию какая власть не придет — всякая меня уважает. Знаю, бывало, кому чем угодить... Кому какой портрет повесить, какой снять...

Павло Павлович. Наши портреты надо пересмотреть, Мотря.

Мотря Терентьевна. А как же! Всех снимала. Я им оставила только Карла Маркса — тоже из немцев был. Посмотрят, будто мы и к ним расположены. Может, не так сделала?

Павло Павлович. Лучше бы ты самого Гитлера вверх ногами повесила! Да знаешь, что они тебе за Маркса сделают?

Мотря Терентьевна. Может, и Айвазовский запрещен? Вот, гляди, тут написано «Айвазовский. Буря».

Павло Павлович. Все сними, все! Достань из комода старые иконы, повесь в углу...

Мы в этом доме тридцать лет прожили, — зачем самим напрашиваться на пожар, еще проживем и под немцами... Постов я не занимал, — конторщик на заводе, разве это большой пост? В партию не вступал, за что же меня расстреливать?

Мотря Терентьевна. А в завком тебя выбирали?

Павло Павлович. Ну и что ж что выбирали! Меня выбирали туда, как балласт.

Мотря Терентьевна. Как бы ни выбирали, а выбирали! Коля вот еще — комсомолец...

Павло Павлович. Коля от меня отрекся. Сначала — этот комсомол, потом перебрался в общежитие из отцовского дома, а теперь и совсем исчез — наверно, в эвакуацию пошел. Совсем чужой, немилый, холодный... Эх, не мой у него разум!

Мотря Терентьевна. Вот через твой разум-то он и пошел куда глаза глядят! Ты всех детей из дома поразогнал! На беса мне твое хозяйство и дом, и корова, и куры, и садик, если внуки мои по чужим углам слоняются! На беса, скажи?!

Павло Павлович. Кого это я поразогнал, Мотря?

Мотря Терентьевна. Дочка из дома убежала... За лейтенанта вышла и убежала. И внуков моих чужие люди баюкают. Думаешь, не больно? А Коля где?.. Разве от порядочного отца бегают? Да за один колин мизинчик я отдала бы все на свете с тобой вместе!..

Павло Павлович. Вот, глупая, сейчас уж и плакать! Горький в пьесе «Мещане» сказал, что дети родителей не понимают...

Мотря Терентьевна. Ты сам себя раз в году понимаешь! Да и то, когда пьяный! А Лечка? Вспомни хоть сегодня.

Павло Павлович. Цыц! Мы его давно похоронили в нашей душе... Пора забыть.

Мотря Терентьевна. Такой уж ты родитель — сразу и забыть!

Очередь из автомата за окном.

Пригнись, чего стоишь как деревянный!

В дверь кто-то постучал.

Боже мой, уже кто-то стучится!..

Павло Павлович. Подожди отпираты! Спроси, кто там... Если будут говорить про хлеб или про зерно, — слышишь: про хлеб или про зерно, — и на порог не пускай! Не надо! Гони от дверей! Это условный знак! Гони и все тут!

Мотря Терентьевна. А ну как немцы?!

Павло Павлович. Проси!

Мотря Терентьевна. Курей надо подалее спрятать...

Снова стук в дверь.

Сейчас, сейчас! Стучатся, как в свой дом, — вот люди... *(Идет в сени.)*

Слышен какой-то разговор. Входит Максим, за ним Мотря Терентьевна.

Максим. Доброго здоровья. Из этого окна немного свет пробивается, завесьте чем-нибудь...

Мотря Терентьевна. Я думала, что немец! Спрашиваю: «Кто там?» — а товарищ директор меня по-немецкому — чистый немец. Так сердце и похолодело... Слава тебе господи, немцев, выходит, прогнали... Там, кажись, еще кто-то с вами стоял?

Максим. Павло Павлович, Свирид Гаврилович не был? Может, случайно заходил, скажите, пожалуйста?

Павло Павлович. Такой революционер выискался! Взрывает домну. С час тому назад слышали взрыв?

Максим. Его дом горит...

Мотря Терентьевна. Ой, горюшко!

Павло Павлович. Ай-ай-ай! Бедные птички! Таких птичек лишиться!

Максим. Павло Павлович, вы дали согласие на квартиру для явок...

Павло Павлович. А как же, дал! Так и условились: если кто постучит и спросит про хлеб или про зерно, тех пускать и направлять дальше... Для революции, может, и моя копейка не будет щербата!

Мотря Терентьевна. О чем вы говорите, не могу постичь?

Павло Павлович. Тебя не касается, Мотря..

Максим. Простите, ошибаетесь! Мы, хозяйка, договорились с Павлом Павловичем так: к вам на квартиру при немцах будут приходиться советские люди, партизаны, а вы их укроете направите дальше, куда надо будет...

Мотря Терентьевна. Ой, боженька мой, какие страхи! У меня ноги дрожат!..

Максим. Допустим: придет партизан, ему надо спрятаться, а то может попасть в петлю. Если его поймают, — шутки короткие.

Павло Павлович. Всех не перевешают кого-нибудь на семя оставят!

Мотря Терентьевна. Он еще шутит. Разогнал детей из дому да хаханьки справляет. Вот при свидетелях тебе говорю: брата моего уже не вернешь, дочка — отрезанный ломоть, а Колю я не переживу!..

Павло Павлович. Вот слезливая баба! Максим Иванович, вы не смотрите на нее, известное дело баба... Да постой, не плачь, еще где немцы-то, у чорта лысого!

Максим. Немцы, Павло Павлович, уже здесь. Заняли Крамово. Наши отступили.

Павло Павлович. Да что вы говорите!

Максим. Немцы вместе с итальянцами. Идут уже обыски, может, раненых кто укрывает или оружие...

Мотря Терентьевна (*крестится*). Боже, отведи от моего Коли этот день!

Максим. Я пришлю к вам человека, он вам скажет, как говорить и куда переправлять товарищей, которые придут на явку...

Павло Павлович. Так говорите, дорогой Максим Иванович, что мы уже очутились под немцами? Что хозяином у нас германская армия?

Максим. Не хозяином, а временным захватчиком.

Павло Павлович (*сменив тон*). Знаешь что, добрый человек, иди ты отсюда помаленьку, потихоньку, чтобы тебя не убивали в моей квартире, чтобы моя совесть была чиста...

Максим. Я не понимаю вас, Павло Павлович.

Павло Павлович. Слушай, Максим, планом ты был вчера, при советской власти, а сейчас ты — вот: тьфу! И зря не поехала вместе с вашими...

Максим (*внимательно посмотрел*). Ишь ты, что у вас за паузой лежало!.. Уверены, что советской власти конец! Ну что ж, спасибо на таком слове...

Павло Павлович. Не за что...

Максим (*сурово*). Помолчите, когда я говорю. К вам придет наш товарищ и пробудет до вечера. Он будет направлять всех, кто придет на явку, в другое место. Вы мне за него отпечатайте головой.

Павло Павлович. Никого и на порог не пущу!

Максим. Пустите! (Уходит.)

Мотря Терентьевна. Не иначе, страшный суд настал!

Павло Павлович. Замкни дверь и никому не отпирай! Если мы хоть одного сюда пустим, прощайся с жизнью! Нашли себе явку — у порядочного человека!

Мотря Терентьевна. А чего же ты соглашался, — сам себя и вини!

Павло Павлович. Не понимаешь политики, — молчи! Иди скорей, запри.

Мотря Терентьевна. Теперь — скорей, а ну, как они нам бомбу кинут. (Выходит.)

Павло Павлович. Покрепче запри. На за-сов!..

Слышно, как вскрикнула Мотря Терентьевна, заголосила.

Не пускай никого! Вытолкай за дверь!

На пороге Мотря Терентьевна, руки в крови.

Господи бсже мой, кого ты впустила?!

Мотря Терентьевна. Воды! Иоду!.. Холстина в сундуке...

Павло Павлович. Взбесилась! Одурела! Вытолкай за дверь! Тут не лазарет!

Мотря Терентьевна (идет прямо на Павла Павловича). Сейчас же давай иоду, а то я тебя убью... Ну!

Павло Павлович. Рехнулась, что ли?

Мотря Терентьевна сбрасывает покрывало с кровати прямо на пол, лишние подушки — прочь, выходит в сени, возвращается, ведя раненого Колю, укладывает его на кровать.

Павло Павлович. Коля?! Ты?

Коля. Ничего, мне не больно... Это повязка намокла. Я ждал, пока не выйдет от вас Максим

Иванович... Немного полежу, и все будет хорошо..
Мама, ты не волнуйся... Я только до вечера.

Мотря Терентьевна перевязывает.

Павло Павлович. Тебя Максим сюда послал?!

Коля. А что ж вы думали — я сам к вам пойду?.. Максим приказал... Ой!

Мотря Терентьевна (перевязывает).
Сыночек мой! Золотой сыночек! Пусть меня убьют вместе с тобой!

Коля. Мама, закройте дверь. Ой! Открывайте только на пароль...

Павло Павлович. Знаешь что, сын?.. Мы тебя выведем потихоньку. Ты и иди с богом... Раз ты от меня отрелся, то и я не хочу. Полежишь себе в садике, на травке, тогда на наш дом никакого подозрения не падет...

Мотря Терентьевна. Душегуб! Убийца! Задушу собственными руками! Выгоняи его, выталкивай, выкидывай на улицу! Пусть подохнет у самого отцовского дома! А я пойду людей позову, — глядите, люди, на проклятого отца! Побейте его камнями, сожгите его дом, пусть проклят будет его след, и его дыхание, и его голос!

Павло Павлович. Тю, глупая! Ты такая, что и в самом деле-дом сожжешь! Разве в саду у нас плохо? И ему самому там безопаснее, в доме сразу поймают, да еще и раненого...

Коля. Мама, вы не волнуйтесь. Ой! До вечера никуда не пойду. Я должен предупредить тех, кто сюда зайдет, не зная души моего бывшего отца... Эх, говорил им, не послушали...

Павло Павлович. Поворчи мне, поворчи! Я тебя с твоей дурой-матерью разом в память приведу!

К о л я. Мама, кто-то стучит... Не открывайте без пароля...

М о т р я Т е р е н т ь е в н а. Сейчас, Коленька...

П а в л о П а в л о в и ч. Не смей никого пускать. В этом доме — я хозяин!

М о т р я Т е р е н т ь е в н а. Пусти! Отойди от порога! Коля, стрельни его из своего патрона! Пусти! *(Отталкивает Павла Павловича, выходит.)*

Короткая пауза. Вбегает Д у с я.

Д у с я *(не обращая ни на кого внимания, бросается к Коле)*. Коля! Это правда! Ты ранен? Я не поверила, честное слово, — не поверила, пока мне сам Максим Иванович не сказал!..

К о л я. Максим Иванович знает, что ты пошла сюда?

Д у с я. Он позволил. Сказал только, чтобы ненадолго. Такой ужас творится на улицах! Немцы прошли, теперь идут итальянцы... Моего Хому Мартыновича схватили около вокзала, он не поспел на поезд... И Надюша с ним вместе была. Повели обоих. Не знаю, что это делается... Дома горят. Кто пройдет улицей — стреляют...

К о л я. Наклонись ко мне.

Д у с я наклоняется.

Всех посылай в нашу землянку, в шахте, знаешь? Там будет явка...

Д у с я. Ладно.

П а в л о П а в л о в и ч. Влетела в чужой дом, воркует, щебечет, словно никого здесь и нет! А ну, убирайся отсюда!

Д у с я. Уже иду, не волнуйтесь, вам вредно волноваться... Я вам пол не просидела, счастья не отняла, сокровищ не ограбила, правда?

П а в л о П а в л о в и ч. Сына украла, — разве тебе впервой!

Д у с я. Сын ваш к советской власти приписан, а не к вам.

Мотря Терентьевна (*обнимает Дусю.*)
Доченька моя, милая! Увидела тебя и будто десять лет с тобой прожила! Не слушай старого душегуба, побудь с нами...

Д у с я. Некогда, мама, надо идти.

Мотря Терентьевна. Куда же ты, мое солнышко?

Д у с я. На войну, мама.

Мотря Терентьевна. Такая маленькая, а на такую большую войну!

К о л я. Поберегись, Дуся. У меня к тебе просьба. (*Тихо.*) Не давайся живой в плен... Ты их знаешь...

Д у с я. Хорошо. (*Поцеловала Колю, пошла, напевая: «И кто его знает, чего он моргает».*)

Мотря Терентьевна. Вот такую бы мне невестку в дом. Больше ничего бы не желала...

Павло Павлович. Да ведь это она и есть. Из-за нее Коля из дому ушел... Она!

Мотря Терентьевна. Слава тебе, господи! Хоть бы ничего не случилось — я ее на руках буду носить!

К о л я. Ой! Если кто зайдет, мама, скажите, что у меня оспа, чтобы никто не подходил.

Мотря Терентьевна. Да уж сегодня столько людей ходят, что на целый век хватит, то один, то другой. Лежи, сынок, спокойно, — никому я тебя не отдам... Пусть сам Гитлер приходит, сукин сын...

Стук в дверь.

К о л я. Спросите, мама, кто...

Стучат сильнее.

Павло Павлович. Эх его нетерпенье разбирает! Чтоб ты сказался! Поди, жена...

Мотря Терентьевна. Сам иди, невелик пан! Может, за тобой пришли: немцам как раз палача нехватает!..

Стук.

Павло Павлович. Да иду же, иду, прах тебя побери! *(Выходит в сени и, пятясь, возвращается в комнату, за ним входит человек в старомодной толстовке, с бородкой.)*

Мотря Терентьевна *(укрыв Колю с головой, сунула себе в карман его оружие). Чужой...*

Человек в толстовке *(перекрестился на цюл, стрельнув глазами во все стороны). Христос воскрес!*

Павло Павлович. Вы пришли к нам на явку?

Толстовка *(оправился, овладел собою, садится). Бой был жестокий. Донецкий бассейн не дается даром. Кто у вас лежит на кровати?*

Мотря Терентьевна. Никого нет...

Толстовка. Как же никого? Покрывало шевелится от дыхания человека.

Мотря Терентьевна. Это наш сын.

Толстовка. Когда он ранен: сегодня или давно? *(Подошел, поднял покрывало: Коля лежит с открытыми глазами, — опустил покрывало на лицо.)* Вы правду говорите, что это ваш сын? *(Садится к столу.)* Быстро летит бешеное время.

Павло Павлович. Вы пришли не на явку?

Толстовка *(патетично)*. Я пришел под кров моей сестры...

Павло Павлович *(приглядывается)*. Неужели?!

Мотря Терентьевна. Леня, боже мой! *(Тотчас остановилась.)*

Толстовка (обнял Мотрю Терентьевну).
Я, сестра. Твой несчастный брат...

Коля поднял покрывало.

Павло Павлович. Леня! Вот здорово!
(Целуется.) Сегодня я все время думал о тебе!
Будто знал, что ты здесь. Прямо из-за границы?
Надолго?

Леонид. Не знаю. (Подходит к Коле.) Ну,
здравствуй, племянник. (Целует в лоб.) Не по-
счастливилось в бою? Кто тебя ранил — итальян-
нец или немец?

Коля. У меня аппендицит...

Леонид. Аппендицит? Прекрасно, можешь ме-
ня не бояться... Я сам — член коммунистической
партии. Здорово?

Мотря Терентьевна. А с немцами как
очутился? Дорогу показываешь?

Леонид. Э, сестра, я птица невелика.

Павло Павлович. Может, за переводчика
пристроился?

Леонид. Угадал, дружище. Полезное дело:
много наших можно спасти!

Павло Павлович. Ну зачем их спасать!..

Мотря Терентьевна. И спасаешь? Мо-
жет, веревкой?

Леонид. Ты мне не веришь, сестра!

Мотря Терентьевна (вглядывается в гла-
за). Приходится верить, если не брешешь... Чего-
то у тебя глаза не людские...

Павло Павлович. Ты, Леня, уже отвык
от ее языка? Прямо на тот свет загоняет, ничего
не могу поделать. И сынок, Коля, в нее пошел —
то ему комсомол подавай, то он, видишь, в войну
полез, покалечился... У меня на квартире их явка...

Коля (перебивает). Отец!

Леонид. От меня нечего скрываться. Я сам

держу связь с коммунистами подполья и партизанами. Вот я встретил старика Хому Мартыновича — партизан явный, а не признался...

Коля. Он не партизан...

Леонид. Мне надо им передать план размещения штаба, чтобы можно было без ошибки действовать. Я его оставляю вам, а Коля передаст... Хома Мартынович — не партизан? Ты наверняка знаешь, Коля?

Мотря Терентьевна. Чего ты к парню привязался? Видишь, у него лихорадка. А ты его тянешь и тянешь за душу... Пускай поспит... Я тебе сама скажу, кто у нас партизаны...

Леонид. Ну, пусть спит. Я спрашиваю потому, что слышал, будто Хому Мартыновича хотят поставить бургомистром, городским головой.

Павло Павлович. Не пойдет. Самый доподлинный чорт. Я уже знаю. Боже сохрани — бургомистром!

Мотря Терентьевна. Ты хочешь знать, кто у нас партизаны? Чтобы помочь им?

Леонид. Чтобы передать им план немецкого штаба.

Мотря Терентьевна. Давай сюда план!

Леонид. Ты хочешь передать?

Мотря Терентьевна. Я сама партизанка!

Павло Павлович. Мотря, кто тебе повсрит?! Православный человек...

Мотря Терентьевна. Не поверят?! А это! *(Достает портрет Сталина, вешает на стену.)* Теперь поверят, что я партизанка?

Павло Павлович. Ну, прямо баба не соображает, что делает...

Леонид. Сестра все понимает. Она хочет заслонить собой своего сына.

Мотря Терентьевна. Ты не веришь, что я партизанка?

Леонид (смеется). Нет. Не верю. Ты просто перепуганная мать.

Мотря Терентьевна. Сейчас поверишь! (Вытягивает из кармана колин револьвер, наставляет на Леонида.) Ну, веришь?

Леонид. Верю! Верю! Спрячь, а то выстрелит!

Входит Свирид Гаврилович тоже с револьвером в руке.

Свирид Гаврилович. Ну, слава богу, что застал! Спрячьте оружие, кума... Да...

Мотря Терентьевна. Свирид Гаврилович! Дай вам боже здоровья... На, Коля, твое добро... (Отдает оружие.)

Павло Павлович. Не понимаю, почему вламываются в чужое помещение без спросу...

Свирид Гаврилович (Леониду). Ну, что, голубчик, попался! Это — я. Узнаешь?

Леонид. Я вас не знаю, кто вы такой...

Свирид Гаврилович. Брешешь! Я тебя сразу признал! Помнишь, как ты меня в двадцатом расстреливал за Черной шахтой! Жену мою и меня?

Павло Павлович. Вы обознались. Свирид Гаврилович.. Это брат Мотри Терентьевны, который словно с того света появился... Мы думали, что он погиб в гражданскую...

Леонид. Я не расстреливал...

Свирид Гаврилович (садится). Кто может понять, какой я счастливый! Да. Слово с этой одеждой надел я свою молодость... На воле скоро светать начнет. Прошел я по родным улцам. Сердце щемит, — вот-вот встречу погибших друзей, расстрелянных героев. Все годы смешались в кучу. Кругом стреляют, светят ра-

кеты. И вот идут мне навстречу Дуся и Максим. Бодрые, смелые, — и кто их обучил так!

К о л я. Свирид Гаврилович, они вам сказали, что взят Хома Мартынович и ваша Надюша?

Свирид Гаврилович. Сказали, лучше бы и не слышать! Схватил их вот этот — штатский... Не волнуйтесь, господин палач, вокруг стоят партизаны и ждут, когда я вас выведу. Мне оказали эту честь вывести вас, потому что я обиженный отец... А тут пригляделся — смотрю, тот, из двадцатого года, который мне снится не перестает, которого я убиваю и режу, в домну толкаю, на кол сажаю, руками за горло душу... Спасибо вам великое, что вы сюда пришли... (Кланяется.) Да...

К о л я. Ведите его скорее, не теряйте времени, Свирид Гаврилович.

Свирид Гаврилович. Ты не понимаешь, паренек, что этого разговора нельзя обойти. Сердце свое я должен излить, душу свою его слезами окропить, глазами на его страх наглядеться...

К о л я (сел в постели). Теперь не та война, что раньше. Разговаривать некогда. Выходите скорей, да заберите у него оружие, пожалуйста.

Л е о н и д. Я работаю только переводчиком... У меня нет оружия.

К о л я (наставив пистолет). Руки вверх! Свирид Гаврилович, прошу вас не мешкать!

Свирид Гаврилович (обыскивает Леонида). Раньше мы знали, как поговорить. (Находит револьвер.) Да, бывало, до утра говоришь, пока всего человека навыворот не поставишь... Сам знаю, что не то время...

Мотря Терентьевна. Только не стреляйте его у дома, отведите хоть на другую улицу...

Л е о н и д. Пожалеешь, сестра!

Мотря Терентьевна (не слушает). Ко-

лю тоже возьмите с собой. Нам здесь уже не жить. Пускай все пропадает пропадом!

Вбегает Григор.

Григор. Скорей, Свирид Гаврилович, мы не успеем отойти! Максим Иванович волнуется...

Свирид Гаврилович. Максим никогда не волнуется! По кбням!

Слышна близкая стрельба.

Мотря Терентьевна. Пойдем, сынок...
(Ведет Колю к двери, на пороге оборачивается и плюет.)

Свирид Гаврилович. Вперед, контра!

Григор (выводит Леонида). Скорей, Максим Иванович приказал!

Свирид Гаврилович (Павлу Павловичу). Извиняюсь за беспокойство... (Выходит.)

Павло Павлович. Слава тебе господи, меня не тронули!

Занавес

Картина 8

Пустая комната. Хома Мартынович и Надюша.
Руки у них связаны.

Надюша. Мы словно на вокзале, Хома Мартынович.

Хома Мартынович. Успела ли уехать Дуся? Знать бы, что она на воле, больше мне нечего и ждать. Пускай еще бьют. Каких партизанов им нужно? Почки совсем отбили, не могу дыхнуть... И зубы...

Надюша. Отец мог остаться, как вы думаете? Он ни за что не бросит квартиру и птичек. Я его хорошо знаю. Будет сидеть, пока не придут и не заберут...

Хома Мартынович. Вас, Надюша, не били?

Надюша. Пусть попробуют!.. Лучше смерть!

Хома Мартынович. Пропал Донбасс... Шахты затоплены... Заводы разрушены... Сколько нашего труда пошло зря. Словно ничего и не было, — степь да несчастные люди.

Надюша. Красная Армия непременно вернется! Разве вы не верите?

Хома Мартынович. Я хотел бы проснуться так, чтобы уже не видеть войны... Ох, болит. А я еще и не пожил...

Надюша. Го, что нас взяли в плен, — дело случая. Наш недосмотр, может быть, легкомысленное отношение к войне. Я искала отца. Вы опоздали на поезд... Не привыкли скрываться в своем городе, — и вот результат... На всякой войне бывают пленные, жертвы, — это закономерно... Надо только не забыть, что сказать перед смертью. Я много раз еще в школе думала о смерти. Мне хотелось работать в подполье, рисковать жизнью, погибнуть за революцию. И даже классную работу на эту тему писала. А сейчас все позабыла. Мне кажется, и не вспомню... Не знаю. (Заплакала.) Хома Мартынович... Я ничего не успела сделать... Как же умирать?

Хома Мартынович. Не надо об этом думать. Мы не военные! Мы — люди мирные, не воевали, из окон не стреляли...

Надюша. Как жаль, что не стреляли!

Отворяется дверь, в комнату немец вталкивает Свирида Гавриловича и Колю, истерзанных, избитых. Ключ падает на пол.

Надюша. Папа!

Свирид Гаврилович (через силу). Надюша! Что, смотришь, как разукрасили? Засы-

пался, старый дурень!.. Так мне и надо! Пустился разговоры разговаривать... Вот несчастье! Не тот теперь бой, что прежде. Мотоциклистов подкинули, гады... Ладно, хоть остальные наши отбились... Да...

Коля (*бредит*). Я ничего не знаю... Не знаю!..

Надюша. Тебя, папа, забрали дома?

Свирид Гаврилович. С этой стороны не подкопаешься: дом я сжег... Да. Опыта на большее нету. В восемнадцатом году техника у нас была одна, теперь, вишь, выходит целый прогресс... Брежут, плешивые... Мы и технику найдем... Научимся коржики с маком есть!..

Хома Мартынович. Времени нету учиться, Свирид Гаврилович.

Надюша. Коля ранен? Надо перевязать, руки освободите...

Свирид Гаврилович. Сейчас! Будет время и учиться. Ловко бьют, сукины сыны... И все чем-нибудь железным. Ну, думаю, нету дураков... Упал и притворяюсь мертвым. (*Пробует развязать руки.*) Одна только веревочная техника осталась старая, — вяжут руки, как и в восемнадцатом году... А я-таки немного понимаю в этом деле. (*Освободив руки.*) Ловкость рук и никакого мошенства! Пока что больше никого не буду развязывать, чтобы не нарваться нам на кулаки... Коля, давай хоть поправлю малость...

Коля (*бредит*). Я вам ничего не скажу!

Свирид Гаврилович. И не надо мне говорить... Вот, так вот сядь, будет лучше. Посмотрим повязку. Повязка на месте. Да. Когда будем дома, тогда накрутим свежего бинта, — и все.. Герпи, казак, чорт тебя не возьмет!.. Что ты на мне увидела, Надюша?

Надюша. Вы дома никогда не были таким.

Свирид Гаврилович. А чего же печалиться? Победа будет за нами! Будет, ого! Тут нам недолго сидеть. Мне Максим крикнул. Этот хлопец не подведет! С его отцом мы партизанили. Настоящая рабочая донбасская династия. Да! Каков отец, таков и сын...

Хома Мартынович. Мне отбили почки, Свирид Гаврилович.

Свирид Гаврилович. Кто там вас спрашивает про нутро? По внешности вы орлом выглядите! Пускай они, бандиты, думают, что у нас железное нутро, стальные нервы! Династия, Хома Мартынович! Да нам внуки в глаза наплюют, если мы не сможем так бороться, так умереть, как отцы наши и деды, как прадеды наши! Подумаешь, изверги, посадят нас на кол и все тут...

Хома Мартынович. Я вытерплю, Свирид Гаврилович.

Свирид Гаврилович. Правильно! Мы из них воду поварим! Династия вам покажет, как живут и как умирают!..

Надюша. Максим знает, что я тут?

Свирид Гаврилович. Ага, не хотела его полюбить! Вот теперь бы и пригодилось. Он тут такого покажет этим немчикам да общипанным итальянцам! Даю тебе слово, — выйдем отсюда, веришь?

Надюша. Я его полюбила, папа.

Свирид Гаврилович. Вот за это спасибо, дочка! Такого слова я от тебя дома и в сто лет не услышал бы! А тут — наставляю ухо и слышу. Эх, Максим, Максим, не знаем мы с тобой, как с женщинами разговаривать! Посадить бы из вот в такую обстановку, не приведи бог. Да...

Хома Мартынович. Я слышу, кто-то подошел к двери...

Свирид Гаврилович. Милости просим...
(Садится на пол, обматывает себе руки веревкой.)

Входит Леонид в немецкой военной форме, голова и руки только что забинтованы. За ним немец.

Леонид. Смотрите хорошенько, Эрнест. Передаю на вашу ответственность. Руку мне ранил этот старик... (Толкает Свирида Гавриловича ногой.) Вам, Эрнест, случалось встречать человека, которого вы двадцать лет назад расстреливали?

Эрнест. Нет.

Леонид. Он хотел через двадцать лет со мной рассчитаться. А что вышло? Он ходил двадцать лет под моим приговором! Да, кстати, посмотрите — вот и дочка его. Ничего, бестия. (Толкает Надюшу.)

Эрнест. Хороша.

Леонид. А эта падаль старая. (Толкает Хома Мартыновича ногой.) Я думал, что он уже подох...

Хома Мартынович. Я помню, Леня, как вас тут бивали за кражи.

Леонид (толкает). Врешь!

Хома Мартынович. А меня бьют за советскую идею...

Леонид. Заткни глотку!

Свирид Гаврилович (Хоме Мартыновичу). Что вы его, дурака, дразните?

Леонид. Что?! (Толкает ногой Свирида Гавриловича.)

Свирид Гаврилович. Я тебе, голубчику, если бы знал, нацелился бы не в руку, а в ногу, чтобы ты не лягался, как коняга... Да...

Леонид. Убью, бандит!

Свирид Гаврилович. Как же ты убьешь, если тебе немцы не позволили? Дурак ты, ваше благородие. Пока они не допросят, права у тебя

нет на мою жизнь. А когда допросят, тогда, пожалуйста, всдай на здоровье.

Коля (бредит). Мама, скажи Дусе, я не бо-
ялся...

Леонид (взял себя в руки). Смотрите за ни-
ми получше, Эрнест. Чтобы живы были. Я приду
вечером, и тогда увидим... И дочка его увидит...
До вечера... (Уходит с немцем.)

Свирид Гаврилович (вдогонку). До ве-
чера! Пусть у тебя ноги отсохнут, холуй немец-
кий! Иуда!

Надюша. Папа...

Свирид Гаврилович. Что «папа»?! Плюй
им в глаза, дочка. Пускай знают наших! Они ду-
мали в Донбассе мир найти? Народную войну
найдут! Объявляю им войну не на жизнь, а на
смерть! Максим, по кбням!..

Занавес

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Картина 9

Уголок старой шахты, превращенный в жилое место.
На столе лампа-«шайтерка», два полковых телефона.
На верях спит Дуся. Максим ходит.

Максим. Ну, Максим Иванович, вот когда
вам припекло. Пока не зацепило ваше сердце, вы
урабрились, завод высадили в воздух, партизаните
прямо как на сцене... А коснулось дело вашего
личного, вашей Надюши, так и хвост опустили?!
Дрожите? Переживаете? Еда на ум не идет, нер-
почки разгулялись, заговорили сами с собой?!
Балда вы. Максим Иванович, честное слово —
балда!

А позвольте спросить: с какой это стати На-

дюша вам дороже того, что вы уже потеряли? Об этом не подумали? Вам казалось, что вы держитесь мужественно, уничтожая завод, хотя сердце ваше в отчаянии разрывается. Брешете, дорогой друже, как собака! Да, да, как собака, брешете... Надюша вам дороже завода!

Вам и в голову не приходило, что дело не только в заводе. Вы хотели показать себя и свою работу. И показали бы! Непременно показали бы! У вас способностей на это хватит. Вы сами знаете без лишней скромности... Отцовская династия, как говорит старый Свирид. Да, дело не только в заводе, слышите, товарищ директор взорванного завода? Завод можно уничтожить — завод можно построить. Дело глубже, Максим Иванович, дело в судьбе нашего государства. Слышите, сын династии, — целое государство под угрозой. Судьба нашего государства поставлена на карту.

И вам пора бы понять, что этот вопрос покрывает с головой все ваши личные болячки!.. Да, да — покрывает! Надюша сама плюнула бы вам в глаза, если бы вы думали иначе!.. Если бы вы только посмели думать иначе!

Пауза.

Надюша, дорогая моя Надюша...

Д у с я (пошнелась). Максим Иванович!

М а к с и м. Чего вам, Дуся?

Д у с я. Что значит, когда снятся цветы?

М а к с и м (нахмурился). Значит, будут ягоды.

Д у с я. Возьмете меня на операцию?

М а к с и м. Спите лучше. Вы — разведчица.

Д у с я. Я могу швырнуть им в штаб связку гранат, правда!

М а к с и м. И сами погибнете.

Д у с я. Что ж такого! Если с толком погибнуть, это не плохо.

Максим. Найдутся люди и без вас, Дуся. наших никуда не переводили из дома райисполкома? Вы хорошо наблюдали?

Дуся. Который раз вы спрашиваете, Максим Иванович?

Максим. Вы не считайте, сколько раз я вас спрашиваю, а отвечайте, как полагается!

Дуся (встала). Штаб и гестапо помещаются вместе в доме райисполкома, товарищ начальник партизанского отряда.

Максим. Спасибо, Дуся... Я забыл, что у вас там тоже близкий человек, да еще не один... Простите меня.

Дуся. Это не относится к делу, Максим Иванович... Я молчу.

Максим (тихо). Дуся, какая вы хорошая девушка...

Дуся (сердито). Служу Советскому Союзу.

Входят с «шахтеркой» Григор и Яша.

Яша. Максим Иванович, вас просят.

Максим (берет лампу). Посматривайте за телефонами, товарищи. (Уходит.)

Григор (садится, вздыхает). Завтра наших будут вешать, — вот где трагедия!

Яша. Клянусь богом! Ты, как фрезерный станок, скребешь и скребешь!

Дуся. Эх, ребята, если бы вы знали, как Максиму Ивановичу тяжело!

Григор. Никому нелегко. Четверо наших в плену...

Яша. Вы только вдумайтесь в это слово: подполье! Настоящее подполье! Да миллионы комсомольцев от зависти слюну будут глотать, как кролики! Подполье! Мы — в герои лопав! Только, кто я такой: подпольный работник, товарищ Яков. Люкс! Все равно, как орден-

носец... (Схватил трубку телефона.) Алло! Слушаю! Чего ты шипишь в трубку?! Ничего не слышу!

Д у с я. Он лежит на чердаке дома, а ты требуешь, чтобы он кричал. Там немцы!

Яша (шопотом). Слушай... Котя... Ради бога тише... Я все слышу... Да. Кто, кто? Хома Мартинович?! Выпустили? Совсем выпустили? (Зажимает трубку.) Немцы выпустили Хому Мартиновича. Ходит по улицам. Факт... Котя говорит, что это, может, приманка. Они следят, куда он пойдет, с кем встретится. (Говорит в трубку.) Разве он знает, где мы? А откуда знает? (Зажимает трубку.) Говорит Котя, может, ему Свирид Гаврилович сказал...

Г р п г о р. Ну вот, еще что придумываешь. Старый партизан не скажет.

Яша. Один уже на свободе. Пойти его привести, Дуся!

Д у с я. Вот, про подполье любишь говорить, а конспирация тебе и не снилась.

Яша. Пожалуйста. Если хочешь, начинай дискуссию. Мне и так понятно. Выпустили из гестапо нашего человека, надо его сюда привести, пусть расскажет... А по-вашему, чтобы шатался неприкаянный?

Д у с я. Яша, разве выпущен не родной мне человек? Ночью мы его незаметно найдем и приведем. Чтобы не потянуть за собой хвост. Вот возьми Мотрю Терентьевну. Днем она прячется по разным уголкам, по подвалам, а ночью мы с нею идем на работу... Я листовки разбрасываю, газеты... А она за немцами охотится. Часами, как червяк, подползает к часовому. А уж как вцепится, руки железные, похрипит немец, — и конец. Ну, иногда ночью приведу ее к нам, накормлю да и обратно выпроваживаю.

Яша (хватает трубку второго телефона). Слушаю! Кто, кто?! Фу ты, чорт! Следи, Сеня, в чре глаза! Есть. (Кладет трубку.)

Дуся. Что такое?

Яша. Не что такое, а несчастье. К нам в шахту спускаются Мотря Терентьевна и Хома Мартинович, вот что.

Григор (хватает автомат). Спокойно, без паники. Если за ними увязался хвост, я его отрублю! А тем временем у нас есть запасный выход... Хоть бы поскорее Максим Иванович вернулся.

Дуся. Иди, Григор. Сеня не пропустит, и ты встретишь.

Григор. Если придется биться, подкинешь мне дисков. (Выходит.)

Дуся. Будь спокоен.

Яша. Дуся, как же это получилось? Она наша дорога?

Дуся. Держи сенину трубку.

Яша. Есть! (Держит трубку.) Сеня, у входа станет Григор с автоматом. Смотри там, не прозевай... Максима Ивановича еще нет.

Входят Мотря Терентьевна и Хома Мартинович.

Мотря Терентьевна (возбуждена)
Здравствуйте, люди добрые. Видали вы, кого я вам привела? Прямо глазам своим не поверила. Подумала, может, и Коленька мой следом идет... Чего же вы молчите? Не угодила. Я никак не могла ночи дожждаться, когда его увидела. На этой шахте когда то еще девушкой работала. Дорога знакомая. Ну, я и пришла.

Дуся. Вы могли привести с собой несчастье.

Хома Мартинович (услышав голос Ду-

си). Доченька моя! Я слышу. Будто через пекло летят твои слова. Боже мой, Дуся. *(Заплакал.)*

Дуся *(обняла Хома Мартыновича)*. Ну что там! Живой, свободный. Какой же ты худой стал! Мучили? Били? Наших видел?

Мотря Терентьевна. Коленька жив! И Надюша, и Свирид Гаврилович. Нам бы поскорее Максима Ивановича. Ставят виселицу... Хома Мартыновича позвали и сказали их условия.

Дуся. Какие там условия?

Хома Мартынович. Обещали всех простить. Если партизаны выйдут из потайных мест, тогда всех отпустят и дадут возможность работать.

Дуся. И ты поверил?

Хома Мартынович. Я сказал, что никто не согласится. А они просили. — Идите, — они этого жадут...

Мотря Терентьевна. Мой сын будет на свободе!

Яша. Думаете, вам простят, что вы немцев душили?

Мотря Терентьевна. Меня пусть не прощают... Только бы выпустили Колю.

Яша *(схватив трубку)*. Есть! Спасибо, Сеня. Жди приказа! Максима Ивановича еще нет... *(Зажав трубку.)* Поздравляю вас — облава! *(В трубку.)* Держи нас в курсе, Сеня! Григора видишь? Он еще не стреляет? Хорошо... *(Кладет трубку.)* Предвидятся боевые действия и тому подобное..

Дуся. Принимаю командование до прихода Максима Ивановича.

Яша. Есть, товарищ командир.

Дуся. Укороги язык... Распоряжение нам дано ясное: защищать этот вход до сбора всех партизан и организованного отхода через второй ход. *(Берет трубку.)* Алло! Котя! Ничего подозри-

тельного. Смотри получше. Начинаем бой со стороны Сени... Возни незаметно? Максима Ивановича еще нет. Все. (Передает трубку Яше.) Держи обе трубки и не клади.

Яша (с двумя трубками). Дуся, голубушка, может, я хоть немножко постреляю? Ну его к чорту, так и войны не увидишь!.. То листовки печатаешь, то с телефоном, как собака, ползаешь... Дуся...

Дуся. Пожалуйста, без довоенных разговоров. Яша (неохотно). Ну есть.

Мотря Терентьевна (лихорадочно). Дуся, прости меня... Я не дождалась, пока ты ночью придешь, и пришла сама... Я не знала... Можно исправить... Я выйду с Хомой Мартыновичем и пойду совсем в другую сторону... Они не заметят, откуда мы вышли. Мы их заведем в другой конец.

Хома Мартынович. Дуся, позволь нам итти! Меня так неожиданно выпустили, что я совсем потерял голову... Я пойду в гестапо, и пусть меня повесят вместе со всеми... Дуся...

Яша. Алло, Сеня! Что! Окружают вход? Ничего, сейчас Григор им даст. Ага, уже дает? Сеня, а к тебе пули не долетают? Высоко? (Дуся.) Григор уже дает из автомата. Куда ты?

Дуся (берет автомат, диски). Всем оставаться здесь до прихода Максима Ивановича. Приказываю: никуда ни ногой! Яша, ты отвечаешь. Пойду на помощь Григору... Тут под землей ничего не услышишь...

Яша. Там около Григора есть люди у входа...

Дуся. Я должна проверить. (Выходит.)

Яша (в трубку). Сеня! Как бой? В полном разгаре? Темно? Это — хуже. Неужели немцы ракеты экономят? Ага, догадались...

Мотря Терентьевна. Яша, мы пойдем.

Пусть они поймают и подумают, что нас только двое.

Яша. Смирно! Приказ — есть приказ! Все!

Входит Максим, несет вместе с партизанами П. и Панько мешок, ставит.

Максим. Вот мы и дома... О, Хома Мартынович! Здравствуйте, здравствуйте. (Обнимает.) А, похудели! Вот вам и курорт! Ничего, ничего, не печальтесь... Доброго здоровья, Мотря Терентьевна! Кланялся вам ваш бывший муж. (К партизанам-колхозникам.) Правда, кланялся. А, товарищ П.?

Товарищ П. (смеется). Чуть голова не отвалилась, — все кланялся!

Мотря Терентьевна (тихо). Два раза он вырывался из моих рук. Ничего. Я его устерегу...

Максим. Как там наши? Они знают, что мы им готовим освобождение? Хома Мартынович, очнитесь, это мы... Ну, все сделано, Яша, где Дуся?

Яша. Дуся ведет бой с превосходящими силами противника...

Максим. Яша, я тебя просил! Где Дуся?

Хома Мартынович. Вот видите, это все я! Немцы напали на след, Максим Иванович.

Максим. Ничего, мы готовы... Яша, с какой стороны угрожают?

Яша (подает трубку). От Сени. Там Григор кладет их из автомата. И Дуся побежала.

Максим (слушает в трубку). Сеня! Это я, Максим Иванович... Видно тебе что-нибудь? Ага, хорошо. Значит, Григор меняет место. Чего же он так меняет место, что ты видишь?! Пусть лежит, когда зажигается ракета. Ничего, они ночью не ползут. Отложат до утра. Знаешь что, Сеня?

Бери телефон — и давай туда, куда сам знаешь...
Переносим командный пункт. Все. (Положил трубку.)

Яша (подает вторую трубку). Вот еще Котьяка.

Максим (берет трубку). Котья? Максим Иванович говорит. Здорово! Мы отсюда снимаемся. Да, да — там, где были до этого. Ты свободен, сматывай удочки. Что?.. Почему не можешь слезть? Ага... Тогда лежи. Освободим. Все. (Положил трубку.) Котья сидит на чердаке разрушенного дома, а двор заняла немецкая пушка... Напомнишь, Яша...

Яша. Есть! Аппараты снимать?

Максим. Снимай. Тебя хлебом не корми, только бы куда-нибудь переезжать.

Товарищ П. Ну, а с мешком как же? Понесем назад, чтоб ему провалиться? Подкинь, Панько, на плечи...

Максим. Нет таскаться с ним некогда. Развязывайте. Панько. Посмотрим, какие бывают холуи после утруски...

Товарищ П. После усушки! Развязывай! Поворожим около немецкого холуя. Вылезай, нечистая сила! Вишь, какой смиренный... Мы за тобой-таки ходили... Не хитро убить, хитро было украсть. Вылезай, сукин сын, бургомистр, кому говорю!

Максим. Господин бургомистр, нам некогда. Панько, поставьте его, пожалуйста, на ноги...

Панько ставит бургомистра на ноги, это — Павло Павлович.

Павло Павлович. Помилуйте!

Мотря Терентьевна. Это ты?! Ага!..

Павло Павлович. Не пускайте ее ко мне, она сумасшедшая!..

Мотря Терентьевна. А ты какой был, когда своего сына немцам выдал? Говори!

Хома Мартынович. Я вспоминаю. Он приходил в нашу камеру и уговаривал Свирида Гавриловича сказать, где партизаны.

Павло Павлович.. Меня силой принуждали!

Товарищ П. И в бургомистры силой тянули? У нас ведь вот на селе третьего старосту немцы меняют... Одного назначат, а он на другой день не дышит... Второго назначат, а тот на другую неделю горит со всем своим хозяйством. Беда, да и только! Ну, мы тогда взяли да сами подыскали им старосту: пьянчужка там у нас был беспутный. Вот и ходит в старостах, сколько вытянет: нам все равно, и им без пользы...

Павло Павлович. Я хотел советских людей перед немцами отстаивать!..

Панько (басом). Вы ему не верьте, брешет, как собака! Ты думал, что советской власти капут, — вот что ты думал!

Яша. Точно. Жаль только, что судить некогда...

Вбегает Дуся с автоматом.

Дуся. Максим Иванович! (Огляделась.) Можно говорить?

Максим. Немцы наседают? Не дают дышать?

Дуся. Григора уже ранило в голову... Не хочет отходить. Кидают гранаты. Надо скорей, чтобы не попасть в западню...

Максим. Спасибо, Дуся. Проводи, пожалуйста, вот товарища Панько, — он большой специалист по одному делу... Мины ставить.

Панько (стесняясь). Ну, какой там специалист.

Максим. Заминируйте вход. Времени у вас

час. Ну, идите потихоньку. Дуся, бери товарища Панько за руку и предупреди, где надо пригнаться: он непривычный в шахте.

Панько. Да ничего. На экскурсию когда приезжал...

Дуся. О, госпожня бургомистра привели! Здорово!.. Пошли, товарищ Панько.

Панько. Только, чтобы нам лбы не побить. *(Уходит вслед за Дусей.)*

Товарищ П. Сущий ребенок. Минны ему, как прожки, а на лбу шишку набить боится.

Максим. Что постановим бургомистру? Яша, как самому младшему, тебе первое слово.

Яша. Капут ему.

Максим. Вы, Хома Мартынович?

Хома Мартынович. Он заставлял сказать, где партизаны.

Товарищ П. И мы пашли у него списки советских людей. Все они теперь в гестапо. Я выказываюсь — за смерть.

Павло Павлович. Присягаю всемогущим богом! Пресвятой, преблагословенной!..

Мотря Терентьевна. Что вы слушаете?

Максим. Господин бургомистр. Именем справедливого советского народа вы присуждены к смерти. Можете сказать последнее слово.

Павло Павлович. Я не буду... Я никогда не буду... Я совершил ошибку. Я не знал... Меня заставили служить... Я буду служить вам...

Товарищ П. *(прислушивается)* Ого, слышны и гранаты! Как бы нас тут не засыпали. Эта шахта не газовая, не загорится?

Максим. Не газовая... Ну, проходите все вперед. Хома Мартынович, Мотря Терентьевна, прощу.

Мотря Терентьевна. Вы его не выпустите?

Максим. Мамаша, не задерживайте нас.

Мотря Терентьевна и Хома Мартынович уходят.

Яша. Знамя куда, Максим Иванович? *(Берет знамя.)*

Товарищ П. Интересно, что у вас за знамя на вооружении? У меня самого в отряде — знамя колхоза, — ничего, служит за боевое. А у вас? *(Смотрит.)* «Доменный цех». Неплохо.

Максим *(берет знамя, свертывает)*. Ну, пошли понемногу. Дорогой захватим Григора с Дусей, Панька и других. *(Плюет через левое плечо.)* Тьфу, тьфу, чтобы посчастливилось и дальше!.. Товарищ П., берите эти мешки с гранатами и диски... А это я возьму. Тяжелое, чтоб ему... Яша, кончишь с бургомистром, догонишь нас...

Яша. Я?

Товарищ П. *(Максиму)*. У меня в отряде не переспрашивают приказов, а у вас?

Максим. Ты что-то хотел сказать, Яша?

Яша. Ничего.

Максим. Возьмешь тогда телефоны, лампочку и догонишь нас. Все понятно?

Яша. Все.

Максим. Не мешкай тут. *(Выходит вместе с товарищем П.)*

Яша *(вытащил револьвер, нацелился, рука дрожит)*. Кру-гом!..

Павло Павлович. Имей в виду, Яша, что я тебе по ночам буду сниться, я к тебе мертвый стану приходить, с того света буду прилетать: за что ты мою душу погубил, за что ты мою жизнь прервал?!

Яша *(чуть не плача)*. Повернись! Я не могу так стрелять.

Павло Павлович *(падает на колени)*. Спасибо тебе, добрая душа! В этом подземном

аду я словно солнце увидел в твоей доброте!..
Боже мой, не клади на него греха душегубства,
прости и помилуй его, аминь! Яша, я сам!.. (пол-
зет на коленях). Я сам... выстрелю себе в сердце.
Так будет легче. Вот и все... Твой грех я приму
на себя... Слышишь, Яша, на мне твой грех!..
(Протягивает руки.) Конец... Скажешь им, что я
умер, как революция повелела... (Выхватил у очу-
мелого Яши револьвер.)

Яша. Револьвер... Отдайте револьвер!..

Павло Павлович (все еще на коленях).
Назад, щенок! (За сценой выстрел: выпускает из
рук оружие и тихо валится на землю.)

Максим (заглядывает). Шляпа. Возьми ору-
жие. Пошли!

Занавес

Картина 10

Двор доменного цеха. Полуразрушенная домна. Виселица
• тремя веревками. Толпа, перепуганная, растерзанная —
• в горле. Немецкие автоматчики с наведенным на
людей оружием. Несколько фрицев около виселицы.

1-й фриц (долговязый, подергал веревку).
Фест! Ставлю кило сала против кило вшей, что
выдержит, кого угодно!

2-й фриц (толстый, постукав молотком по
подпорке). Фертиг! Прошлый раз, когда веревка
оборвалась, была не наша вина. Имперское интен-
дантство держит гнилой товар.

3-й фриц (пузатый). Бурши, не пора ли нам
поеть?

1-й фриц. Чья очередь получать веревки от се-
годняшних висельников?

4-й фриц (молодой). Моя.

2-й фриц. Молокосос, я тебе не давал слова!
На что тебе веревки?

4-й фриц. На счастье...

2-й фриц. Придешь ко мне в лавку после войны, я тебе продам счастья сколько угодно.

1-й фриц. С какой стати ему веревки? Работа его и нитки не стоит.

4-й фриц. Чья работа?

2-й фриц. Твоя. Мы за него все сделаем, обслужим клиентов, а ему что остается? Вытянуть доску из-под ног? Это и собака сделает. *(Почесывается.)*

3-й фриц. Бурши! Я призываю вас к исполнению арийского долга. *(Отодвигает в сторону лавку, садится на нее, достает из кармана еду, а из коробки от противогаса — бутылку шампанского.)* Ресторан «Под старой виселицей». Заходите, старцы, заходите, юнцы!

Все садятся, достают из карманов еду, начинают жрать. Пьют шампанское.

1-й фриц. Прозит! *(Пьет.)*

2-й фриц *(горланит)*. Мы идем, солдаты! Бойтесь, девчаты!

3-й фриц *(припевает по-тирольски)*. Ю-ги, ю-ги, ю-ги, дивчаты!..

4-й фриц *(детским голосом)*. Тысяча чертей! Пьем до дна!

1-й фриц. Дайте ему соску. Я не могу видеть его...

4-й фриц. Тихо! Офицер идет.

Кончают есть, бумажки прячут по карманам, с лавок сметают крошки. Входит офицер с девушкой.

Офицер. Мне то есть нравится, майне пуппхен...¹ Я буду вам показать вся механика... За один зажигательный поцелуй...

Девушка *(это Дуся, хорошо одетая, в шляпке, накрашенная)*. Мне прямо страшно! Можно стоять близко? Я боюсь партизанов!

¹ Майне пуппхен — моя куколка (немецк.).

О ф и ц е р. Шёне панораме! ¹ (Примеряется фотоаппаратом.) Прошу, моя девушка, вот тут, около моих солдат... Вы им приятно улыбаетесь. Вот так, данке! ² (Щелкает.) Теперь, прошу вас — на смертельную скамью! Не бойтесь, это будет сенсационное фото!.. Вот так!.. Теперь вы берете дизэ захе ³ (сует Дусе в руки веревку), улыбаетесь моим солдатам... так, так... Стоп. (Щелкает.) Вундершен ⁴.

Д у с я (сходит с лавки). Брр, я боюсь партизанов... А вы?

О ф и ц е р (строгим голосом, солдатам.) По местам!

Солдаты встают у виселицы, заученные позы.

3-й ф р и ц (вытянувшись). Шутц-команда сотрок первого полка готова к исполнению приговора! Веревки проверены, эрзац-мыло получено, водка выпита, хайль Гитлер!

О ф и ц е р. Следить, чтобы висельники не плясали, не крутились, чтобы веревки не растрепались! Держать за ноги!

Д у с я. Уже ведут! (Смотрит.) Боже мой, я спрячусь от него! Это просто какой-то ненормальный человек.

О ф и ц е р. Прошу не бояться. Вечером я буду успокоить тебя...

Д у с я. Я не хотела пойти к нему, а он сказал, что я партизанка.

О ф и ц е р. Спокойно. Перед немецким офицером он будет молчать, моя пуппе!

Д у с я. Спасибо! О, как они медленно идут! Кто это такие?..

¹ Шёне панораме — прекрасный вид (немецк.).

² Данке — благодарю (немецк.).

³ Дизэ захе — эту вещь (немецк.).

⁴ Вундершен — превосходно (немецк.).

Офицер. Перед виселицей трудно узнавать людей, моя девица.

Дуся. А там, среди людей (показывает на толпу), может есть их родственники? Вот любопытно. Позвольте родичам осужденных попрощаться! Подойдут ли они?

Офицер. Не думаю. Осужденные будут повешены, а родичи расстреляны....

Дуся. Вот интересно!..

Проводят Свирида Гавриловича, Колю, Коля едва идет, голова упала на грудь. Позади — Леонид.

Свирид Гаврилович. Коля, держи хвост бубликом! Пусть не радуются, вражьи души!.. Ты видишь, куда они нас привели? К нашей домне.

Леонид. Я делаю последнее предупреждение. Не разговаривать!

Свирид Гаврилович. Молчи, дурень! Тут есть постарше тебя.

Леонид (хватается за оружие). Старая собака!

Свирид Гаврилович. Эх, жаль, что не ты у меня в руках... Уж мы тогда увидали бы и сопли и слезы...

Офицер. Силенция! Оглашаю приговор. (Достаёт бумагу.) Военный суд немецкой армии приговорил к повешению врагов Германской империи, двоих партизанов, отказавшихся назвать свои имена...

Леонид. Я имел честь доложить их фамилии.

Свирид Гаврилович. Куда вы девали мою дочь?

Офицер. Она будет повешена рядом с вами завтра.

Дуся. Боже мои, боже!

Офицер. Вам хочется, моя душа, видеть ее тут сегодня? То есть невозможное.

Дуся. В глаз что-то влетело.

Свирид Гаврилович. Вижу ваше проклятое намерение! Доченька моя родная, что тебя еще ждет! Ничего, вы не увидите наших слез! Всех не перевешаете, придут спасители! Сталин вам за все оплатит! Пусти, не держи! Выше голову! Так! Плюю на смерть! Плюй, Коля!.. Не бойся, нашей жизни они не остановят! Мы будем жить в памяти советских людей! Прощай, Коля!

Коля. Я не боюсь, дядя Свирид.. У меня только голова кружится.

Леонид. Прекратить разговоры! Берите их!

Дуся (офицеру). Может, там у них есть родичи, что если дать им попрощаться?

Леонид (офицеру). Эта девушка подозрительная... Осмелюсь вас предостеречь...

Офицер (громко). Оповестите всех, что родичам партизанов разрешено попрощаться.

Свирид Гаврилович. Максим, Максим, и чего ты опоздал?!

Леонид (кричит). Родственники осужденных могут свободно подойти попрощаться! Подходи по одному! Ну, есть родичи или нет!

Голоса (из толпы). Есть! Есть!

Выходит Хома Мартынович, медленно идет, приближается к осужденным.

Хома Мартынович (кланяется Свириду Гавриловичу). Живи много лет, Свирид Гаврилович... (Целует. Потом кланяется и целует Колю.) Живи много лет, Коля... (Становится в сторонке.)

Леонид (кричит). Еще кто?

Выходит Мотря Терентьевна и, как птица, летит к сыну

Мотря Терентьевна. Сыночек мой! (Обнимает.)

Коля. Прощай, мама!.. Скажи товарищам, я не боялся.

Мотря Терентьевна. Не прощайся, сынок, не надо!

Свирид Гаврилович. Зачем вы поверили и вышли?

Мотря Терентьевна (кланяется Свириду Гавриловичу). Живи много лет, Свирид Гаврилович! (Становится рядом с Хомой Мартыновичем, по пути плюнув в сторону Леонида.)

Леонид. Все родственники? Или еще есть?

Голос. Есть!

Выходит Яша, идет независимо.

Леонид. Ты тоже родственник?

Яша. А вам жалко? Я — их родич...

Коля. Яша, товарищ дорогой!

Яша. Здорово, Коля! А ты поправился, как после курорта...

Леонид. Проходи, проходи вон к этим.

Яша. Клянусь богом, вы спешите напрасно! (Целуется с Свиридом Гавриловичем и подходит к Хоме Мартыновичу и Мотре Терентьевне.)

Офицер. Давайте, темпо! Темпо!

Леонид (кричит). Родственников больше нет?

Голоса. Есть! Есть! (Целая толпа движется к осужденным.)

Офицер. Хальт! Автоматчики!..

Дуся. Не надо стрелять! Вы слышали далекий взрыв?

Офицер. У вас галлюцинация, моя милая... Станьте в сторонку, мы будем разговаривать с родственниками осужденных... (Берет в руки пи-

столет.) С кого начинать? С этой старой рвани?
(Поднимает пистолет на Хому Мартыновича.)

Д у с я. Нет! Нет!

О ф и ц е р. Или мне начать с этой старой ведьмы? (Направляет пистолет на Мотрю Терентьевну.)

Д у с я. Нет! Нет!

О ф и ц е р. Может быть, вас устраивает, моя любимая, вот этот люмпен? (Целится в Яшу.)

Я ш а. Ну, нет, — я человек культурный.

Д у с я. Я сама! Можно? Я сама!

О ф и ц е р (Леониду). Вы слышите, какой характер! Дайте ей оружие. Я узнаю арийскую кровь...

Л е о н и д. Не советую вам этого, герр офицер...

О ф и ц е р. Шнель! Блицц! ¹

Леонид подает Дусе пистолет.

С в и р и д Г а в р и л о в и ч. Я ничего не понимаю.

К о л я. Я уже не могу стоять...

Слышен сильный взрыв вдалеке, взрыв повторяется, выстрелы из пулеметов, разрывы гранат.

Д у с я. Сигнал! (Стреляет в офицера, тот падает.)

Я ш а (выхватывает гранату). Руки вверх!

Поверх заводской стены появляются Панько, люди с автоматами, Леонид поднял руки.

С в и р и д Г а в р и л о в и ч. Максим! Это его работа! Давай! Давай!

П а р т и з а н ы вбежали, налетели на фрицев. Борьба.

Д у с я. Свирид Гаврилович! Надюша!

К о л я. Дуся! Дуся, что случилось? Что ты?

С в и р и д Г а в р и л о в и ч. Не бойся, Дуся, все идет хорошо.

Шнель, блицц — быстро, молния (немецк).

Д у с я. Вы не знаете. Надюши... Надюши нет!
С в и р и д Г а в р и л о в и ч. Не печалься, те-
перь выйдет на волю и Надюша...

Д у с я. Не выйдет Надюша! Взрывы слыша-
ли? Это Максим Иванович взорвал немецкий
штаб. А Надя была там на допросе...

С в и р и д Г а в р и л о в и ч. Максим.

Д у с я. Ее повели на допрос, а наши уничто-
жили штаб...

С в и р и д Г а в р и л о в и ч. Надюша, дочка...
Это прямо мне в сердце...

Вбегает М а к с и м.

Д у с я. Максим Иванович! Ее не приводили
сюда, не приводили!

М а к с и м. Знаю.

С в и р и д Г а в р и л о в и ч. Может, она еще
жива?

М а к с и м. Нет, дом весь уничтожен... (*На-
клоняется, целует руку Свирида Гавриловича.*)
Простите, отец...

С в и р и д Г а в р и л о в и ч (*обнимает Макси-
ма*). Надюша моя, Надюша... Ты, ее любил, Мак-
сим?

М а к с и м. Любил, папаша.

С в и р и д Г а в р и л о в и ч. Хорошо, сын. (*От-
ворачивается, плечи его вздрагивают от слез.*)

Х о м а М а р т ы н о в и ч. Свирид! Ну не плачь,
тебе говорю...

Вбегает товарищ П.

Т о в а р и щ П. Товарищи! Товарищ Максим!
Сюда двигаются мотоциклисты. Будем давать
бой? Или как?

М а к с и м (*тихо*). Отец, принимайте командо-
вание!

Свирид Гаврилович. А ты?

Максим. Я около вас.

Свирид Гаврилович. Хорошо, сынок. *(Тонем командира.)* Э-гей. А ну, уводи эту сволочь от виселицы! Некогда с ними тут копать!

Четырех фрицев повели.

Бой будем давать около завода! Вы держите мотоциклистов, пока мы закончим с фланга! Набьем им морды! Вперед!

Товарищ П. Есть. *(Выбежал, за ним его люди.)*

Свирид Гаврилович *(взглянув на Леонида)*. А ты, стерва, еще жив? *(Яше.)* Ты чего стоишь около него, как мертвый?

Леонид. Помилуйте...

Свирид Гаврилович. По врагу, огонь!

Яша. Есть — по врагу огонь! *(Медленно поднимает пистолет.)* Стой. Не отворачивай морды. Я тебе в глаза буду стрелять, гад. За Надюшу! Подыхай... *(Стреляет. Леонид падает.)*

Свирид Гаврилович. Говори, Максим.

Максим. Отряд мстителей товарища С. — вперед! За советскую Украину, товарищи! За родной Донбасс! За Сталина! Смерть немецким оккупантам!

Свирид Гаврилович. Вперед, Донбасс! Партизаны, по коням!

Выстрелы. В вечернем небе чертят воздух ракеты. Далекие взрывы гранат. Все идут.

Занавес

Уфа, апрель 1942 года

4 руб.